Чёрный Саша

Сатиры

- Саша Черный
  - Критику
  - Всем нищим духом
    - Ламентации
    - Пробуждение весны
    - Песня о поле
    - Анархист
    - Пошлость
    - Потомки
    - Крейцерова соната
    - Отъезд петербуржца
    - Искатель
    - ***
    - Опять
    - Культурная работа
    - Желтый дом
    - Зеркало
    - Споры
    - Интеллигент
    - Отбой
    - 1909
    - Новая цифра. 1910
    - Бессмертие
    - Простые слова
    - Утешение
    - Диета
    - Два желания
  - Быт
    - Мясо
    - Всероссийское горе
    - Обстановочка
    - Совершенно веселая песня
    - Служба Сборов
    - Окраина Петербурга
    - На открытии выставки
    - Жизнь

        - На вербе
        - Пасхальный перезвон
        - На петербургской даче
        - Ночная песня пьяницы
        - Городская сказка
        - Лаборант и медички
        - В гостях
        - Европеец
        - Мухи
        - Кухня
    - Литературный цех
        - В редакции толстого журнала
        - «Смех сквозь слезы» (1809 – 1909)
        - Стилизованный осел
        - Недоразумение
        - Переутомление
        - Два толка
        - Нетерпеливому
        - Недержание
        - Сиропчик
        - Искусство в опасности
        - Юмористическая артель
        - Единственному в своем роде
        - По мытарствам
        - Панургова муза
        - ***
        - Честь
        - Вешалка дураков
        - Читатель
        - Трагедия
        - ***
    - Невольная дань
        - Невольное признание
        - Баллада
        - Цензурная сатира
        - Экспромт
        - Там внутри

        - Молитва
        - Веселая наглость
        - К женскому съезду
        - К приезду французских гостей
        - Злободневность
        - Успокоение
    - Послания
        - Послание второе
        - Послание третье
        - Послание пятое
        - Кумысные вирши
    - Провинция
        - Бульвары
        - Священная собственность
        - На славном посту
        - При лампе
        - Ранним утром
        - Лошади
        - Из гимназических воспоминаний
        - Первая любовь
        - На музыкальной репетиции
        - Вильна
        - Уездный город Болхов
    - Лирические сатиры
        - Под сурдинку
        - Экзамен
        - Из Финляндии
        - Песнь песней
        - Весна мертвецов
        - Бегство
        - Карнавал в Гейдельберге
        - Из «Шмецких» воспоминаний
    - Примечания

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.com

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

Саша Черный
Сатиры

Критику

Когда поэт, описывая даму,
Начнет: «Я шла по улице. В бока впился корсет», —
Здесь «я» не понимай, конечно, прямо —
Что, мол, под дамою скрывается поэт.
Я истину тебе по-дружески открою:
Поэт – мужчина. Даже с бородою.

1909

Всем нищим духом

Ламентации

Хорошо при свете лампы
Книжки милые читать.
Пересматривать эстампы
И по клавишам бренчать, —

Щекоча мозги и чувство
Обаяньем красоты,
Лить душистый мед искусства
В бездну русской пустоты…

В книгах жизнь широким пиром
Тешит всех своих гостей,
Окружая их гарниром
Из страданий и страстей:

Смех, борьба и перемены,
С мясом вырван каждый клок!
А у нас… углы да стены
И над ними потолок.

Но подчас, не веря мифам,
Так событий личных ждешь!
Заболеть бы что ли тифом,
Учинить бы, что ль, дебош?

В книгах гений Соловьевых,
Гейне, Гете и Золя,
А вокруг от Ивановых
Содрогается земля.

На полотнах Магдалины,

Сонм Мадонн, Венер и Фрин,
А вокруг кривые спины
Мутноглазых Акулин.

Где событья нашей жизни,
Кроме насморка и блох?
Мы давно живем, как слизни,
В нищете случайных крох.

Спим и хнычем. В виде спорта,
Не волнуясь, не любя,
Ищем бога, ищем черта,
Потеряв самих себя.

И с утра до поздней ночи
Все, от крошек до старух,
Углубив в страницы очи,
Небывалым дразнят дух.

В звуках музыки – страданье,
Боль любви и шепот грез,
А вокруг одно мычанье,
Стоны, храп и посвист лоз.

Отчего? Молчи и дохни.
Рок – хозяин, ты – лишь раб.
Плюнь, ослепни и оглохни,
И ворочайся, как краб!

…Хорошо при свете лампы
Книжки милые милые читать,
Перелистывать эстампы
И по клавишам бренчать.

1909

Пробуждение весны

Вчера мой кот взглянул на календарь
И хвост трубою поднял моментально,
Потом подрал на лестницу, как встарь,
И завопил тепло и вакханально:
«Весенний брак, Гражданский брак!
Спешите, кошки, на чердак…»

И кактус мой – о, чудо из чудес! —
Залитый чаем и кофейной гущей,
Как новый Лазарь, взял да и воскрес
И с каждым днем прет из земли все пуще.
Зеленый шум… Я поражен:
«Как много дум наводит он!»

Уже с панелей смерзшуюся грязь,
Ругаясь, скалывают дворники лихие,
Уже ко мне забрел сегодня «князь»,
Взял теплый шарф и лыжи беговые…
«Весна, весна! – пою, как бард, —
Несите зимний хлам в ломбард».

Сияет солнышко. Ей-богу, ничего!
Весенняя лазурь спугнула дым и копоть,
Мороз уже не щиплет никого,
Но многим нечего, как и зимою, лопать…
Деревья ждут… Гниет вода,
И пьяных больше, чем всегда!

Создатель мой! Спасибо за весну! —
Я думал, что она не возвратится, —
Но… дай сбежать в лесную тишину
От злобы дня, холеры и столицы!
Весенний ветер за дверьми…
В кого б влюбиться, черт возьми?

1909

Песня о поле

«Проклятые» вопросы,
Как дым от папиросы,
Рассеялись во мгле.
Пришла проблема пола,
Румяная фефела,
И ржет навеселе.

Заерзали старушки,
Юнцы и дамы-душки
И прочий весь народ.
Виват, проблема пола!
Сплетайте вкруг подола
Веселый «хоровод».

Ни слез, ни жертв, ни муки…
Подымем знамя-брюки
Высоко над толпой.
Ах, нет доступней темы!
На ней сойдемся все мы —
И зрячий и слепой.

Научно и приятно,
Идейно и занятно —
Умей момент учесть:
Для слабенькой головки
В проблеме – мышеловке
Всегда приманка есть.

1908

Анархист

Жил на свете анархист,
Красил бороду и щеки,
Ездил к немке в Териоки
И при этом был садист.

Вдоль затылка жались складки
На багровой полосе.
Ел за двух, носил перчатки —
Словом, делал то, что все.

Раз на вечере попович,
Молодой идеалист,
Обратился: «Петр Петрович,
Отчего вы анархист?»

Петр Петрович поднял брови
И, багровый, как бурак,
Оборвал на полуслове:
«Вы невежда и дурак».

1910

Пошлость

Пастель

Лиловый лиф и желтый бант у бюста,
Безглазые глаза – как два пупка.
Чужие локоны к вискам прилипли густо,

И маслянисто свесились бока.

Сто слов, навитых в черепе на ролик,
Замусленную всеми ерунду,
Она, как четки набожный католик,
Перебирает вечно на ходу.

В ее салонах – все, толпою смелой,
Содравши шкуру с девственных идей,
Хватают лапами бесчувственное тело
И рьяно ржут, как стадо лошадей.

Там говорят, что вздорожали яйца
И что комета стала над Невой, —
Любуясь, как каминные китайцы
Кивают в такт под граммофонный вой.

Сама мадам наклонна к идеалам:
Законную двуспальную кровать
Под стеганым атласным одеялом
Она всегда умела охранять.

Но, нос суя любовно и сурово
В случайный хлам бесштемпельных «грехов»,
Она читает вечером Баркова
И с кучером храпит до петухов.

Поет. Рисует акварелью розы.
Следит, дрожа, за модой всех сортов,
Копя остроты, слухи, фразы, позы
И растлевая музу и любовь.

На каждый шаг – расхожий катехизис,
Прин-ци-пи-аль-но носит бандажи.
Некстати поминает слово «кризис»
И томно тяготеет к глупой лжи.

В тщеславном, нестерпимо остром, зуде
Всегда смешна, себе самой в ущерб,
И даже на интимнейшей посуде
Имеет родовой дворянский герб.

Она в родстве и дружбе неизменной
С бездарностью, нахальством, пустяком.
Знакома с лестью, пафосом, изменой
И, кажется, в амурах с дураком…

Ее не знают, к счастью, только… Кто же?
Конечно – дети, звери и народ.
Одни – когда со взрослыми не схожи,
А те – когда подальше от господ.

Портрет готов. Карандаши бросая,
Прошу за грубость мне не делать сцен:
Когда свинью рисуешь у сарая —
На полотне не выйдет belle Helene[1].

1910

Потомки

Наши предки лезли в клети
И шептались там не раз:
«Туго, братцы… Видно, дети
Будут жить вольготней нас».

Дети выросли. И эти
Лезли в клети в грозный час
И вздыхали: «Наши дети
Встретят солнце после нас».

Нынче так же, как вовеки,

Утешение одно:
Наши дети будут в Мекке,
Если нам не суждено.

Даже сроки предсказали:
Кто – лет двести, кто – пятьсот,
А пока лежи в печали
И мычи, как идиот.

Разукрашенные дули,
Мир умыт, причесан, мил…
Лет чрез двести? Черта в стуле!
Разве я Мафусаил?

Я, как филин, на обломках
Переломанных богов.
В неродившихся потомках
Нет мне братьев и врагов.

Я хочу немножко света
Для себя, пока я жив,
От портного до поэта —
Всем понятен мой призыв…

А потомки… Пусть потомки,
Исполняя жребий свой
И кляня свои потемки,
Лупят в стенку головой!

1908

Крейцерова соната

Квартирант сидит на чемодане
И задумчиво рассматривает пол:

Те же стулья, и кровать, и стол,
И такая же обивка на диване,
И такой же «бигус» на обед, —
Но на всем какой-то новый свет.

Блещут икры полной прачки Феклы.
Перегнулся сильный стан во двор.
Как нестройный, шаловливый хор,
Верещат намыленные стекла,
И заплаты голубых небес
Обещают тысячи чудес.

Квартирант сидит на чемодане.
Груды книжек покрывают пол.
Злые стекла свищут: эй, осел!
Квартирант копается в кармане,
Вынимает стертый четвертак,
Ключ, сургуч, копейку и пятак…

За окном стена в сырых узорах,
Сотни ржавых труб вонзились в высоту,
А в Крыму миндаль уже в цвету…
Вешний ветер закрутился в шторах
И не может выбраться никак.
Квартирант пропьет свой четвертак!

Так пропьет, что небу станет жарко.
Стекла вымыты. Опять тоска и тишь.
Фекла, Фекла, что же ты молчишь?
Будь хоть ты решительной и яркой:
Подойди, возьми его за чуб
И ожги огнем весенних губ…

Квартирант и Фекла на диване.
О, какой торжественный момент!
«Ты – народ, а я – интеллигент, —
Говорит он ей среди лобзаний, —

Наконец-то, здесь, сейчас, вдвоем,
Я тебя, а ты меня – поймем…»

1909

Отъезд петербуржца

Середина мая и деревья голы…
Словно Третья Дума делала весну!
В зеркало смотрю я, злой и невеселый,
Смазывая йодом щеку и десну.

Кожа облупилась, складочки и складки,
Из зрачков сочится скука многих лет.
Кто ты, худосочный, жиденький и гадкий?
Я?! О нет, не надо, ради бога, нет!

Злобно содрогаюсь в спазме эстетизма
И иду к корзинке складывать багаж:
Белая жилетка, Бальмонт, шипр и клизма,
Желтые ботинки, Брюсов и бандаж.

Пусть мои враги томятся в Петербурге!
Еду, еду, еду – радостно и вдруг.
Ведь не догадались думские Ликурги
Запрещать на лето удирать на юг.

Синие кредитки вместо Синей Птицы
Унесут туда, где солнце, степь и тишь.
Слезы увлажняют редкие ресницы:
Солнце… Степь и солнце вместо стен и крыш.

Был я богоборцем, был я мифотворцем
(Не забыть панаму, плащ, спермин и «код»),
Но сейчас мне ясно: только тошнотворцем,

Только тошнотворцем был я целый год…

Надо подписаться завтра на газеты,
Чтобы от культуры нашей не отстать,
Заказать плацкарту, починить штиблеты
(Сбегать к даме сердца можно нынче в пять).

К прачке и в ломбард, к дантисту-иноверцу,
К доктору – и прочь от берегов Невы!
В голове – надежды вспыхнувшего сердца,
В сердце – скептицизм усталой головы.

1909

Искатель

Из дневника современника

С горя я пошел к врачу.
Врач пенсне напялил на нос:
«Нервность. Слабость. Очень рано-с.
Ну-с, так я вам закачу
Гунияди-Янос».

Кровь ударила в виски:
Гунияди?! От вопросов,
От безверья, от тоски?!
Врач сказал: «Я не философ.
До свиданья».

Я к философу пришел:
«Есть ли цель? Иль книги – ширмы?

Правда «школ» – ведь правда фирмы?
Я живу, как темный вол.
Объясните!»

Заходил цветной халат
Парой егеревских нижних:
«Здесь бессилен сам Сократ!
Вы – профан. Ищите ближних».
– «Очень рад».

В переулке я поймал
Человека с ясным взглядом.
Я пошел тихонько рядом:
«Здравствуй, ближний…» – «Вы нахал!»
– «Извините…»

Я пришел домой в чаду,
Переполненный раздумьем.
Мысль играла в чехарду
То с насмешкой, то с безумьем.
Пропаду!

Тихо входит няня в дверь.
Вот еще один философ:
«Что сидишь, как дикий зверь?
Плюнь, да веруй – без вопросов».
– «В Гунияди?»

– «Гу-ни-я-ди? Кто такой?
Не немецкий ли святой?
Для спасения души —
Все святые хороши…»
Вышла.

1909

****

Это не было сходство, допусти – мое даже в лесу, – это было тождество, это было безумное превращение одного в двоих.

Л. Андреев. «Проклятие зверя»

Все в штанах, скроенных одинаково,
При усах, в пальто и в котелках.
Я похож на улице на всякого
И совсем теряюсь на углах…

Как бы мне не обменяться личностью:
Он войдет в меня, а я в него, —
Я охвачен полной безразличностью
И боюсь решительно всего…

Проклинаю культуру! Срываю подтяжки!
Растопчу котелок! Растерзаю пиджак!!
Я завидую каждой отдельной букашке,
Я живу, как последний дурак…

В лес! К озерам и девственным елям!
Буду лазить, как рысь, по шершавым стволам.
Надоело ходить по шаблонным панелям
И смотреть на подкрашенных дам!

Принесет мне ворона швейцарского сыра,
У заблудшей козы надою молока.
Если к вечеру станет прохладно и сыро,
Обложу себе мохом бока.

Там не будет газетных статей и отчетов.
Можно лечь под сосной и немножко повыть.
Иль украсть из дупла вкусно пахнущих сотов,

Или землю от скуки порыть…

А настанет зима – упираться не стану:
Буду голоден, сир, малокровен и гол —
И пойду к лейтенанту, к приятелю Глану:
У него даровая квартира и стол.

И скажу: «Лейтенант! Я – российский писатель,
Я без паспорта в лес из столицы ушел,
Я устал, как собака, и – веришь, приятель —
Как семьсот аллигаторов зол!

Люди в городе гибнут, как жалкие слизни,
Я хотел свою старую шкуру спасти.
Лейтенант! Я бежал от бессмысленной жизни
И к тебе захожу по пути…»

Мудрый Глан ничего мне на это не скажет,
Принесет мне дичины, вина, творогу…
Только пусть меня Глан основательно свяжет,
А иначе – я в город сбегу.

1907 или 1908

Опять

Опять опадают кусты и деревья,
Бронхитное небо слезится опять,
И дачники, бросив сырые кочевья,
Бегут, ошалевшие, вспять.

Опять, перестроив и душу, и тело
(Цветочки и летнее солнце – увы!),
Творим городское, ненужное дело
До новой весенней травы.

Начало сезона. Ни света, ни красок,
Как призраки, носятся тени людей..
Опять одинаковость серенький масок
От гения до лошадей.

По улицам шляется смерть. Проклинает
Безрадостный город и жизнь без надежд,
С презреньем, зевая, на землю толкает
Несчастных, случайных невежд.

А рядом духовная смерть свирепеет
И сослепу косит, пьяна и сильна.
Всё мало и мало – коса не тупеет,
И даль безнадежно черна.

Что будет? Опять соберутся Гучковы
И мелочи будут, скучая, жевать,
А мелочи будут сплетаться в оковы,
И их никому не порвать.

О, дом сумасшедших, огромный и грязный!
К оконным глазницам припал человек:
Он видит бесформенный мрак безобразный,
И в страхе, что это навек,

В мучительной жажде надежды и красок
Выходит на улицу, ищет людей…
Как страшно найти одинаковость масок
От гения до лошадей!

1908

Культурная работа

Утро. Мутные стекла как бельма,
Самовар на столе замолчал.
Прочел о визитах Вильгельма
И сразу смертельно устал.

Шагал от дверей до окошка,
Барабанил марш по стеклу
И следил, как хозяйская кошка
Ловила свой хвост на полу.

Свистал. Рассматривал тупо
Комод, «Остров мертвых», кровать.
Это было и скучно, и глупо —
И опять начинал я шагать.

Взял Маркса. Поставил на полку.
Взял Гёте – и тоже назад.
Зевая, подглядывал в щелку,
Как соседка пила шоколад.

Напялил пиджак и пальтишко
И вышел. Думал, курил…
При мне какой-то мальчишка
На мосту под трамвай угодил.

Сбежались. Я тоже сбежался.
Кричали. Я тоже кричал,
Махал рукой, возмущался
И карточку приставу дал.

Пошел на выставку. Злился.
Ругал бездарность и ложь.
Обедал. Со скуки напился
И качался, как спелая рожь.

Поплелся к приятелю в гости,
Говорил о холере, добре,

Гучкове, Урьеле д'Акосте —
И домой пришел на заре.

Утро… Мутные стекла как бельма.
Кипит самовар. Рядом «Русь»
С речами того же Вильгельма.
Встаю – и снова тружусь.

1910

Желтый дом

Семья – ералаш, а знакомые – нытики,
Смешной карнавал мелюзги.
От службы, от дружбы, от прелой политики
Безмерно устали мозги.
Возьмешь ли книжку – муть и мразь:
Один кота хоронит,
Другой слюнит, разводит грязь
И сладострастно стонет…

* * *

Петр Великий, Петр Великий!
Ты один виновней всех:
Для чего на север дикий
Понесло тебя на грех?
Восемь месяцев зима, вместо фиников – морошка.
Холод, слизь, дожди и тьма – так и тянет из окошка

Брякнуть вниз о мостовую одичалой головой…
Негодую, негодую… Что же дальше, боже мой?!

Каждый день по ложке керосина
Пьем отраву тусклых мелочей…
Под разврат бессмысленных речей
Человек тупеет, как скотина…

Есть парламент, нет? Бог весть,
Я не знаю. Черти знают.
Вот тоска – я знаю – есть,
И бессилье гнева есть…
Люди ноют, разлагаются, дичают,
А постылых дней не счесть.

Где наше – близкое, милое, кровное?
Где наше – свое, бесконечно любовное?
Гучковы, Дума, слякоть, тьма, морошка…
Мой близкий! Вас не тянет из окошка
Об мостовую брякнуть шалой головой?
Ведь тянет, правда?

1908

Зеркало

Кто в трамвае, как акула,
Отвратительно зевает?
То зевает друг-читатель
Над скучнейшею газетой.

Он жует ее в трамвае,
Дома, в бане и на службе,
В ресторанах и в экспрессе,
И в отдельном кабинете.

Каждый день с утра он знает,
С кем обедал Франц-Иосиф
И какую глупость в Думе
Толстый Бобринский сморозил…

Каждый день, впиваясь в строчки,
Он глупеет и умнеет:
Если автор глуп – глупеет,
Если умница – умнеет.

Но порою друг-читатель
Головой мотает злобно
И ругает, как извозчик,
Современные газеты.

«К черту! То ли дело Запад
И испанские газеты…»
(Кстати – он силен в испанском,
Как испанская корова).

Друг-читатель! Не ругайся,
Вынь-ка зеркальце складное.
Видишь – в нем зловеще меркнет
Кто-то хмурый и безликий?

Кто-то хмурый и безликий,
Не испанец, о, нисколько,
Но скорее бык испанский,
Обреченный на закланье.

Прочитай: в глазах-гляделках
Много ль мыслей, смеха, сердца?
Не брани же, друг-читатель,
Современные газеты…

1908

Споры

Каждый прав и каждый виноват.
Все полны обидным снисхожденьем
И, мешая истину с глумленьем,
До конца обидеться спешат.

Эти споры – споры без исхода,
С правдой, с тьмой, с людьми, с самим собой,
Изнуряют тщетною борьбой
И пугают нищенством прихода.

По домам бессильно разбредаясь,
Мы нашли ли собственный ответ?
Что ж слепые наши «да» и «нет»
Разбрелись, убого спотыкаясь?

Или мысли наши – жернова?
Или спор – особое искусство,
Чтоб, калеча мысль и теша чувство,
Без конца низать случайные слова?

Если б были мы немного проще,
Если б мы учились понимать,
Мы могли бы в жизни не блуждать,
Словно дети в незнакомой роще.

Вновь забытый образ вырастает:
Притаилась Истина в углу,
И с тоской глядит в пустую мглу,
И лицо руками закрывает…

1908

Интеллигент

Повернувшись спиной к обманувшей надежде
И беспомощно свесив усталый язык,
Не раздевшись, он спит в европейской одежде
И храпит, как больной паровик.

Истомила Идея бесплодьем интрижек,
По углам паутина ленивой тоски,
На полу вороха неразрезанных книжек
И разбитых скрижалей куски.

За окном непогода лютеет и злится…
Стены прочны, и мягок пружинный диван.
Под осеннюю бурю так сладостно спится
Всем, кто бледной усталостью пьян.

Дорогой мой, шепни мне сквозь сон по секрету,
Отчего ты так страшно и тупо устал?
За несбыточным счастьем гонялся по свету,
Или, может быть, землю пахал?

Дрогнул рот. Разомкнулись тяжелые вежды,
Монотонные звуки уныло текут:
«Брат! Одну за другой хоронил я надежды,
Брат! От этого больше всего устают.

Были яркие речи и смелые жесты
И неполных желаний шальной хоровод.
Я жених непришедшей прекрасной невесты,
Я больной, утомленный урод».

Смолк. А буря все громче стучалась в окошко.
Билась мысль, разгораясь и снова таясь.
И сказал я, краснея, тоскуя и злясь:

«Брат! Подвинься немножко».

1908

Отбой

За жирными коровами следуют тощие, за тощими – отсутствие мяса

Гейне

По притихшим редакциям,
По растерзанным фракциям,
По рутинным гостиным,
За молчанье себя награждая с лихвой,
Несется испуганный вой:
Отбой, отбой,
Окончен бой,
Под стол гурьбой!
Огонь бенгальский потуши,
Соси свой палец, не дыши,
Кошмар исчезнет сам собой —
Отбой, отбой, отбой!
Читали, как сын полицмейстера ездил по городу,
Таскал по рынку почтеннейших граждан за бороду,
От нечего делать нагайкой их сек,
Один – восемьсот человек?
Граждане корчились, морщились,
Потом послали письмо со слезою в редакцию
И обвинили… реакцию.
Читали?
Ах, политика узка
И притом опасна.

Ах, партийность так резка
И притом пристрастна.
Разорваны по листику
Программки и брошюры,
То в ханжество, то в мистику
Нагие прячем шкуры.
Славься, чистое искусство
С грязным салом половым!
В нем лишь черпать мысль и чувство
Нам – ни мертвым ни живым.
Вечная память прекрасным и звучным словам!
Вечная память дешевым и искренним позам!
Страшно дрожать по своим беспартийным углам
Крылья спалившим стрекозам!
Ведьмы, буки, черные сотни,
Звездная палата, «черный кабинет»…
Всё проворней и всё охотней
Лезем сдуру в чужие подворотни —
Влез. Молчок. И нет как нет.
Отбой, отбой,
В момент любой,
Под стол гурьбой.
В любой момент
Индифферент:
Семья, горшки,
Дела, грешки —
Само собой.
Отбой, отбой, отбой!
«Отречемся от старого мира…»
И полезем гуськом под кровать.
Нам, уставшим от шумного пира,
Надо свежие силы набрать.
Ура!!

1909

1909

Родился карлик Новый Год,
Горбатый, сморщенный урод,
Тоскливый шут и скептик,
Мудрец и эпилептик.

«Так вот он – милый божий свет?
А где же солнце? Солнца нет!
А, впрочем, я не первый,
Не стоит портить нервы».

И люди людям в этот час
Бросали: «С Новым Годом вас!»
Кто честно заикаясь,
Кто кисло ухмыляясь…

Ну, как же тут не поздравлять?
Двенадцать месяцев опять
Мы будем спать и хныкать
И пальцем в небо тыкать.

От мудрых, средних и ослов
Родятся реки старых слов,
Но кто еще, как прежде,
Пойдет кутить к надежде?

Ах, милый, хилый Новый Год,
Горбатый, сморщенный урод!
Зажги среди тумана
Цветной фонарь обмана.

Зажги! Мы ждали много лет —
Быть может, солнца вовсе нет?
Дай чуда! Ведь бывало
Чудес в веках не мало…

Какой ты старый, Новый Год!
Ведь мы равно наоборот
Считать могли бы годы,
Не исказив природы.

Да… Много мудрого у нас…
А впрочем, с Новым Годом вас!
Давайте спать и хныкать
И пальцем в небо тыкать.

1908

Новая цифра. 1910

Накрутить вам образов, почтеннейший?
Нанизать вам слов кисло-сладких,
Изысканно гладких
На нити банальнейших строф?
Вот опять неизменнейший
Тощий младенец родился,
А старый хрен провалился
В эту… как ее?.. В Лету.

Как трудно, как нудно поэту!..
Словами свирепо-солдатскими
Хочется долго и грубо ругаться,
Цинично и долго смеяться,
Но вместо того – лирическо-штатскими
Звуками нужно слагать поздравленье,
Ломая ноги каждой строке
И в гневно-бессильной руке
Перо сжимая в волненьи.

Итак: с Новою Цифрою, братья!
С весельем… То бишь, с проклятьем —

Дешевым шампанским,
Цимлянским
Наполним утробы.
Упьемся! И в хмеле, таком же дешевом,
О счастье нашем грошовом
Мольбу к небу пошлем,
К небу, прямо в серые тучи:
Счастья, здоровья, веселья,
Котлет, пиджаков и любовниц,
Пищеваренье и сон —
Пошли нам, серое небо!

Молодой снежок
Вьется, как пух из еврейской перины.
Голубой кружок —
То есть луна – такой смешной и невинный.
Фонари горят
И мигают с усмешкою старых знакомых.
Я чему-то рад
И иду вперед беспечней насекомых.
Мысли так свежи,
Пальто на толстой подкладке ватной,
И лужи-ужи
Ползут от глаз к фонарям и обратно…

Братья! Сразу и навеки
Перестроим этот мир.
Братья! Верно, как в аптеке:
Лишь любовь дарует мир.
Так устроим же друг другу
С Новой Цифрой новый пир —
Я согласен для начала
Отказаться от сатир!
Пусть больше не будет ни глупых, ни злобных,
Пусть больше не будет слепых и глухих,
Ни жадных, ни стадных, ни низко-утробных —
Одно лишь семейство святых…

…Я полную чашу российского гною
За Новую Цифру, смеясь, подымаю!
Пригубьте, о братья! Бокал мой до краю
Наполнен ведь вами – не мною.

1909

Бессмертие

Бессмертье? Вам, двуногие кроты,
Не стоящие дня земного срока?
Пожалуй, ящерицы, жабы и глисты
Того же захотят, обидевшись глубоко…

Мещане с крылышками! Пряники и рай!
Полвека жрали – и в награду вечность.
Торг не дурен. «Помилуй и подай!»
Подай рабам патент на бесконечность.

Тюремщики своей земной тюрьмы,
Грызущие друг друга в каждой щели,
Украли у пророков их псалмы,
Чтоб бормотать их в храмах раз в неделю.

Нам, зрячим, – бесконечная печаль,
А им, слепым, – бенгальские надежды,
Сусальная сияющая даль,
Гарантированные брачные одежды!..

Не клянчите! Господь и мудр, и строг, —
Земные дни бездарны и убоги,
Не пустит вас господь и на порог,

Сгниете все, как падаль, у дороги.

Между 1908 и 1912

Простые слова

Памяти Чехова

В наши дни трехмесячных успехов
И развязных гениев пера
Ты один, тревожно-мудрый Чехов,
С каждым днем нам ближе, чем вчера.

Сам не веришь, но зовешь и будишь,
Разрываешь ямы до конца
И с беспомощной усмешкой тихо судишь
Оскорбивших землю и Отца.

Вот ты жил меж нами, нежный, ясный,
Бесконечно ясный и простой, —
Видел мир наш хмурый и несчастный,
Отравлялся нашей наготой…

И ушел! Но нам больней и хуже:
Много книг, о, слишком много книг!
С каждым днем проклятый круг всё уже
И не сбросить «чеховских» вериг…

Ты хоть мог, вскрывая торопливо
Гнойники, – смеяться, плакать, мстить.
Но теперь всё вскрыто. Как тоскливо

Видеть, знать, не ждать и молча гнить!

1910

Утешение

Жизнь бесцветна? Надо, друг мой,
Быть упорным и искать:
Раза два в году ты можешь,
Как король, торжествовать…

Если где-нибудь случайно, —
В маскараде иль в гостях,
На площадке ли вагона,
Иль на палубных досках, —
Ты столкнешься с человеком
Благородным и простым,
До конца во всем свободным,
Сильным, умным и живым,
Накупи бенгальских спичек,
Закажи оркестру туш,
Маслом розовым намажься
И прими ликерный душ!
Десять дней ходи во фраке,
Нищим сто рублей раздай,
Смейся в горьком умиленьи
И от радости рыдай…

Раза два в году – не шутка,
А при счастье – три и пять.
Надо только, друг мой бедный,
Быть упорным и искать.

1922

Диета

Каждый месяц к сроку надо
Подписаться на газеты.
В них подробные ответы
На любую немощь стада.

Боговздорец иль политик,
Радикал иль черный рак,
Гениальный иль дурак,
Оптимист иль кислый нытик —
На газетной простыне
Все найдут свое вполне.

Получая аккуратно
Каждый день листы газет,
Я с улыбкой благодатной,
Бандероли не вскрывая,
Аккуратно, не читая,
Их бросаю за буфет.

Целый месяц эту пробу
Я проделал. Оживаю!
Потерял слепую злобу,
Сам себя не истязаю;
Появился аппетит,
Даже мысли появились…
Снова щеки округлились…
И печенка не болит.

В безвозмездное владенье
Отдаю я средство это
Всем, кто чахнет без просвета
Над унылым отраженьем
Жизни мерзкой и гнилой,

Дикой, глупой, скучной, злой.

Получая аккуратно
Каждый день листы газет,
Бандероли не вскрывая,
Вы спокойно, не читая,
Их бросайте за буфет.

1910

Два желания

1

Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты…
И брать от людей из дола
Хлеб, вино и котлеты.

2

Сжечь корабли и впереди, и сзади,
Лечь на кровать, не глядя ни на что,
Уснуть без снов и, любопытства ради,
Проснуться лет чрез сто.

1909

Быт

Мясо

(Шарж)

Брандахлысты в белых брючках
В лаун-теннисном азарте
Носят жирные зады.

Вкруг площадки, в модных штучках,
Крутобедрые Астарты,
Как в торговые ряды,

Зазывают кавалеров
И глазами, и боками,
Обещая всё для всех.

И гирлянды офицеров,
Томно дрыгая ногами,
«Сладкий празднуют успех».

В лакированных копытах
Ржут пажи и роют гравий,
Изгибаясь, как лоза, —

На раскормленных досыта
Содержанок, в модной славе,
Щуря сальные глаза.

Щеки, шеи, подбородки,
Водопадом в бюст свергаясь,

Пропадают в животе,

Колыхаются, как лодки,
И, шелками выпираясь,
Вопиют о красоте.

Как ходячие шнель-клопсы,
На коротких, тухлых ножках
(Вот хозяек дубликат!)

Грандиознейшие мопсы
Отдыхают на дорожках
И с достоинством хрипят.

Шипр и пот, французский говор…
Старый хрен в английском платье
Гладит ляжку и мычит.

Дипломат, шпион иль повар?
Но без формы люди – братья:
Кто их, к черту, различит?..

Как наполненные ведра
Растопыренные бюсты
Проплывают без конца —

И опять зады и бедра…
Но над ними – будь им пусто! —
Ни единого лица!

Лето 1909

Всероссийское горе

Всем добрым знакомым с отчаянием посвящаю

Итак – начинается утро.
Чужой, как река Брахмапутра,
В двенадцать влетает знакомый.
«Вы дома?» К несчастью, я дома.
В кармане послав ему фигу,
Бросаю немецкую книгу
И слушаю, вял и суров,
Набор из ненужных мне слов.
Вчера он торчал на концерте —
Ему не терпелось до смерти
Обрушить на нервы мои
Дешевые чувства свои.

Обрушил! Ах, в два пополудни
Мозги мои были как студни…
Но, дверь запирая за ним
И жаждой работы томим,
Услышал я новый звонок:
Пришел первокурсник-щенок.
Несчастный влюбился в кого-то…
С багровым лицом идиота
Кричал он о «ней», о богине,
А я ее толстой гусыней
В душе называл беспощадно…
Не слушал! С улыбкою стадной
Кивал головою сердечно
И мямлил: «Конечно, конечно».

В четыре ушел он… В четыре!
Как тигр я шагал по квартире,
В пять ожил и, вытерев пот,
За прерванный сел перевод.
Звонок… С добродушием ведьмы
Встречаю поэта в передней.
Сегодня собрат именинник
И просит дать взаймы полтинник.
«С восторгом!» Но он… остается!

В столовую томно плетется,
Извлек из-за пазухи кипу
И с хрипом, и сипом, и скрипом
Читает, читает, читает…
А бес меня в сердце толкает:
Ударь его лампою в ухо!
Всади кочергу ему в брюхо!

Квартира? Танцкласс ли? Харчевня?
Прилезла рябая девица:
Нечаянно «Месяц в деревне»
Прочла и пришла «поделиться»…
Зачем она замуж не вышла?
Зачем (под лопатки ей дышло!)
Ко мне направляясь, сначала
Она под трамвай не попала?
Звонок… Шаромыжник бродячий,
Случайный знакомый по даче,
Разделся, подсел к фортепьяно
И лупит. Не правда ли, странно?
Какие-то люди звонили.
Какие-то люди входили.
Боясь, что кого-нибудь плюхну,
Я бегал тихонько на кухню
И плакал за вьюшкою грязной
Над жизнью своей безобразной.

1910

Обстановочка

Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом,
Жена на локоны взяла последний рубль,
Супруг, убитый лавочкой и флюсом,
Подсчитывает месячную убыль.

Кряхтят на счетах жалкие копейки:
Покупка зонтика и дров пробила брешь,
А розовый капот из бумазейки
Бросает в пот склонившуюся плешь.
Над самой головой насвистывает чижик
(Хоть птичка божия не кушала с утра),
На блюдце киснет одинокий рыжик,
Но водка выпита до капельки вчера.
Дочурка под кроватью ставит кошке клизму,
В наплыве счастья полуоткрывши рот,
И кошка, мрачному предавшись пессимизму,
Трагичным голосом взволнованно орет.
Безбровая сестра в облезлой кацавейке
Насилует простуженный рояль,
А за стеной жиличка-белошвейка
Поет романс: «Пойми мою печаль»
Как не понять? В столовой тараканы,
Оставя черствый хлеб, задумались слегка,
В буфете дребезжат сочувственно стаканы,
И сырость капает слезами с потолка.

1909

Совершенно веселая песня

(Полька)

Левой, правой, кучерявый,
Что ты ерзаешь, как черт?
Угощение на славу,
Музыканты – первый сорт.
Вот смотри:

Раз, два, три.
Прыгай, дрыгай до зари.

Ай, трещат мои мозоли
И на юбке позумент!
Руки держит, как франзоли,
А еще интеллигент.
Ах, чудак,
Ах, дурак!
Левой, правой, – вот так-так!

Трим-ти, тим-ти – без опаски,
Трим-тим-тим – кружись вперед!
Что в очки запрятал глазки?
Разве я, топ-топ, урод?
Топ-топ-топ,
Топ-топ-топ…
Оботри платочком лоб.

Я сегодня без обеда,
И не надо – ррри-ти-ти.
У тебя-то, буквоеда,
Тоже денег не ахти?
Ну и что ж —
Наживешь.
И со мной, топ-топ, пропьешь.

Думай, думай – не поможет!
Сорок бед – один ответ:
Из больницы на рогоже
Стащат черту на обед.
А пока,
Ха-ха-ха,
Не толкайся под бока!

Все мы люди-человеки…
Будем польку танцевать.

Даже нищие-калеки
Не желают умирать.
Цок-цок-цок
Каблучок,
Что ты морщишься, дружок?

Ты ли, я ли – всем не сладко,
Знаю, котик, без тебя.
Веселись же хоть украдкой,
Танцы – радость, книжки – бя.
Лим-тим-тись,
Берегись.
Думы к черту, скука – брысь!

1910

Служба Сборов

Начальник Акцептации сердит:
Нашел просчет в копейку у Орлова.
Орлов уныло бровью шевелит
И про себя бранится: «Ишь, бандит!»
Но из себя не выпустит ни слова.

Вокруг сухой, костлявый, дробный треск —
Как пальцы мертвецов, бряцают счеты.
Начальнической плеши строгий блеск
С бычачьим лбом сливается в гротеск, —
Но у Орлова любоваться нет охоты.

Конторщик Кузькин бесконечно рад:
Орлов на лестнице стыдил его невесту,
Что Кузькин как товарищ – хам и гад,
А как мужчина – жаба и кастрат…
Ах, может быть, Орлов лишится места!

В соседнем отделении содом:
Три таксировщика, увлекшись чехардою,
Бодают пол. Четвертый же, с трудом
Соблазн преодолев, с досадой и стыдом
Им укоризненно кивает бородою.

Но в коридоре тьма и тишина.
Под вешалкой таинственная пара —
Он руки растопырил, а она
Щемящим голосом взывает: «Я жена…
И муж не вынесет подобного удара!»

По лестницам красавицы снуют,
Пышнее и вульгарнее гортензий.
Их сослуживцы «фаворитками» зовут —
Они не трудятся, не сеют – только жнут,
Любимицы Начальника Претензий…

В буфете чавкают, жуют, сосут, мычат.
Берут пирожные в надежде на прибавку.
Капуста и табак смесились в едкий чад.
Конторщицы ругают шоколад
И бюст буфетчицы, дрожащий на прилавке…

Второй этаж. Дубовый кабинет.
Гигантский стол. Начальник Службы Сборов,
Поймав двух мух, покуда дела нет,
Пытается определить на свет,
Какого пола жертвы острых взоров.

Внизу в прихожей бывший гимназист
Стоит перед швейцаром без фуражки.
Швейцар откормлен, груб и неречист:
«Ведь грамотный, поди, не трубочист!
“Нет мест” – вон на стене висит бумажка».

1909

Окраина Петербурга

Время года неизвестно.
Мгла клубится пеленой.
С неба падает отвесно
Мелкий бисер водяной.

Фонари горят как бельма,
Липкий смрад навис кругом,
За рубашку ветер-шельма
Лезет острым холодком.

Пьяный чуйка обнял нежно
Мокрый столб – и голосит.
Бесконечно, безнадежно
Кислый дождик моросит…

Поливает стены, крыши,
Землю, дрожки, лошадей.
Из ночной пивной всё лише
Граммофон хрипит, злодей.

«Па-ца-луем дай забвенье!»
Прямо за сердце берет.
На панели тоже пенье:
Проститутку дворник бьет.

Брань и звуки заушений…
И на них из всех дверей
Побежали светотени
Жадных к зрелищу зверей.

Смех, советы, прибаутки,
Хлипкий плач, свистки и вой —

Мчится к бедной проститутке
Постовой городовой.

Увели… Темно и тихо.
Лишь в ночной пивной вдали
Граммофон выводит лихо:
«Муки сердца утоли!»

1910

На открытии выставки

Дамы в шляпках «кэк-уоках»,
Холодок публичных глаз,
Лица в складках и отеках,
Трэны, перья, ленты, газ.
В незначительных намеках —
Штемпеля готовых фраз.

Кисло-сладкие мужчины,
Знаменитости без лиц,
Строят знающие мины,
С видом слушающих птиц
Шевелюры клонят ниц
И исследуют причины.

На стене упорный труд —
Вдохновенье и бездарность…
Пусть же мудрый и верблюд
Совершают строгий суд:
Отрицанье, благодарность
Или звонкий словоблуд…

Умирающий больной.
Фиолетовые свиньи.

Стая галок над копной.
Блюдо раков. Пьяный Ной.
Бюст молочницы Аксиньи,
И кобыла под сосной.

Вдохновенное Nocturno[2],
Рядом рыжий пиджачок,
Растопыренный над урной…
Дама смотрит в кулачок
И рассеянным: «Недурно!»
Налепляет ярлычок.

Да? Недурно? Что – Nocturno?
Иль яичница-пиджак?
Генерал вздыхает бурно
И уводит даму. Так…
А сосед глядит в кулак
И ругается цензурно…

1910

Жизнь

У двух проституток сидят гимназисты:
Дудиленко, Барсов и Блок.
На Маше – персидская шаль и монисто,
На Даше – боа и платок.

Оплыли железнодорожные свечи.
Увлекшись азартным банчком,
Склоненные головы, шеи и плечи
Следят за чужим пятачком.

Играют без шулерства. Хочется люто
Порой игроку сплутовать.

Да жутко! Вмиг с хохотом бедного плута
Засунут силком под кровать.

Лежи, как в берлоге, и с завистью острой
Следи за игрой и вздыхай, —
А там на заманчивой скатерти пестрой
Баранки, и карты, и чай…

Темнеют уютными складками платья.
Две девичьих русых косы.
Как будто без взрослых здесь сестры и братья
В тиши коротают часы.

Да только по стенкам висят офицеры…
Не много ли их для сестер?
На смятой подушке бутылка мадеры,
И страшно затоптан ковер.

Стук в двери. «Ну, други, простите, к нам гости!»
Дудиленко, Барсов и Блок
Встают, торопясь, и без желчи и злости
Уходят готовить урок.

1910

На вербе

Бородатые чуйки с голодными глазами
Хрипло предлагают «животрепещущих докторов».
Гимназисты поводят бумажными усами,
Горничные стреляют в суконных юнкеров.

Шаткие лари, сколоченные наскоро,
Холерного вида пряники и халва,
Грязь под ногами хлюпает так ласково,

И на плечах болтается чужая голова.

Червонные рыбки из стеклянной обители
Грустно-испуганно смотрят на толпу.
«Вот замечательные американские жители —
Глотают камни и гвозди, как крупу!»

Писаря выражаются вдохновенно-изысканно,
Знакомятся с модистками и переходят на ты,
Сгущенный воздух переполнился писками,
Кричат бирюзовые бумажные цветы.

Деревья вздрагивают черными ветками,
Капли и бумажки падают в грязь.
Чужие люди толкутся между клетками
И месят ногами пеструю мазь.

1909

Пасхальный перезвон

Пан-пьян! Красные яички.
Пьян-пан! Красные носы.
Били-бьют! Радостные личики.
Бьют-били! Груды колбасы.

Дал-дам! Праздничные взятки.
Дам-дал! И этим и тем.
Пили-ели! Визиты в перчатках.
Ели-пили! Водка и крем.

Пан-пьян! Наливки и студни.
Пьян-пан! Боль в животе.
Били-бьют! И снова будни.

Бьют-били! Конец мечте.

1909

На петербургской даче

Промокло небо и земля,
Душа и тело отсырели.
С утра до вечера скуля,
Циничный ветер лезет в щели.
Дрожу, как мокрая овца…
И нет конца, и нет конца!

Не ем прекрасных огурцов,
С тоской смотрю на землянику:
Вдруг отойти в страну отцов
В холерных корчах – слишком дико…
Сам Мережковский учит нас,
Что смерть страшна, как папуас.

В объятьях шерстяных носков
Смотрю, как дождь плюет на стекла.
Ах, жив бездарнейший Гучков,
Но нет великого Патрокла!
И в довершение беды
Гучков не пьет сырой воды.

Ручьи сбегают со стволов.
Городовой надел накидку.
Гурьба учащихся ослов
Бежит за горничною Лидкой.
Собачья свадьба… Чахлый гром.
И два спасенья: бром и ром.

На потолке в сырой тени

Уснули мухи. Сатанею…
Какой восторг в такие дни
Узнать, что шаху дали в шею!
И только к вечеру поймешь,
Что твой восторг – святая ложь…

Горит свеча. Для счета дней
Срываю листик календарный —
Строфа из Бальмонта. Под ней:
«Борщок, шнель-клопс и мусс янтарный».
Дрожу, как мокрая овца…
И нет конца, и нет конца!

1909

Ночная песня пьяницы

Темно…
Фонарь куда-то к черту убежал!
Вино
Качает толстый мой фрегат, как в шквал…
Впотьмах
За телеграфный столб держусь рукой.
Но, ах!
Нет вовсе сладу с правою ногой:
Она
Вокруг меня танцует – вот и вот…
Стена
Всё время лезет прямо на живот.
Свинья!!
Меня назвать свиньею? Ах, злодей!
Меня,
Который благородней всех людей?!
Убью!
А, впрочем, милый малый, бог с тобой —

Я пью,
Но так уж предназначено судьбой.
Ослаб…
Дрожат мои колени – не могу!
Как раб,
Лежу на мостовой и ни гу-гу…
Реву…
Мне нынче сорок лет – я нищ и глуп.
В траву
Заройте наспиртованный мой труп.
В ладье
Уже к чертям повез меня Харон…
Adieu!
Я сплю, я сплю, я сплю со всех сторон.

1909

Городская сказка

Профиль тоньше камеи,
Глаза как спелые сливы,
Шея белее лилеи
И стан как у леди Годивы.

Деву с душою бездонной,
Как первая скрипка оркестра,
Недаром прозвали мадонной
Медички шестого семестра.

Пришел к мадонне филолог,
Фаддей Симеонович Смяткин.
Рассказ мой будет недолог:
Филолог влюбился по пятки.

Влюбился жестоко и сразу

В глаза ее, губы и уши,
Цедил за фразою фразу,
Томился, как рыба на суше.

Хотелось быть ее чашкой,
Братом ее или теткой,
Ее эмалевой пряжкой
И даже зубной ее щеткой!..

«Устали, Варвара Петровна?
О, как дрожат ваши ручки!» —
Шепнул филолог любовно,
А в сердце вонзились колючки.

«Устала. Вскрывала студента:
Труп был жирный и дряблый.
Холод… Сталь инструмента.
Руки, конечно, иззябли.

Потом у Калинкина моста
Смотрела своих венеричек.
Устала: их было до ста.
Что с вами? Вы ищете спичек?

Спички лежат на окошке.
Ну, вот. Вернулась обратно,
Вынула почки у кошки
И зашила ее аккуратно.

Затем мне с подругой достались
Препараты гнилой пуповины.
Потом… был скучный анализ:
Выделенье в моче мочевины…

Ах, я! Прошу извиненья:
Я роль хозяйки забыла —
Коллега! Возьмите варенья, —

Сама сегодня варила».

Фаддей Симеонович Смяткин
Сказал беззвучно: «Спасибо!»
А в горле ком кисло-сладкий
Бился, как в неводе рыба.

Не хотелось быть ее чашкой,
Ни братом ее и ни теткой,
Ни ее эмалевой пряжкой,
Ни зубной ее щеткой!

1909

Лаборант и медички

1

Он сидит среди реторт
И ругается, как черт:
«Грымзы! Кильки! Бабы! Совы!
Безголовы, бестолковы —
Йодом залили сюртук,
Не закрыли кран… Без рук!
Бьют стекло, жужжат, как осы.
А дурацкие вопросы?
А погибший матерьял?
О, как страшно я устал!»

Лаборант встает со стула.
В уголок идет сутуло
И, издав щемящий стон,

В рот сует пирамидон.

2

А на лестнице медички
Повторяли те же клички:
«Грымза! Килька! Баба! Франт!
Безголовый лаборант…
На невиннейший вопрос
Буркнет что-нибудь под нос;
Придирается, как дама, —
Ядовито и упрямо,
Не простит простой ошибки!
Ни привета, ни улыбки…»

Визг и писк. Блестят глазами,
Машут красными руками:
«О, несноснейший педант,
Лаборашка, лаборант!»

3

Час занятий. Шепот. Тишь.
Девы гнутся, как камыш,

Девы все ушли в работы.
Где же «грымзы»? Где же счеты?
Лаборант уже не лев
И глядит бочком на дев,
Как колибри на боа.
Девы тоже трусят льва:
Очень страшно, очень жутко —
Оскандалиться не шутка!

Свист горелок. Тишина.
Ноет муха у окна.
Где Юпитер? Где Минервы?
Нервы, нервы, нервы, нервы…

1909

В гостях

Петербург

Холостой стаканчик чаю
(Хоть бы капля коньяку),
На стене босой Толстой.
Добросовестно скучаю
И зеленую тоску
Заедаю колбасой.

Адвокат ведет с коллегой
Специальный разговор.
Разорвись – а не поймешь!
А хозяйка с томной негой,

Устремив на лампу взор,
Поправляет бюст и брошь.

«Прочитали Метерлинка?»
– «Да. Спасибо, прочитал…»
– «О, какая красота!»
И хозяйкина ботинка
Взволновалась, словно в шквал.
Лжет ботинка, лгут уста…

У рояля дочь в реформе,
Взяв рассеянно аккорд,
Стилизованно молчит.
Старичок в военной форме
Прежде всех побил рекорд —
За экран залез и спит.

Толстый доктор по ошибке
Жмет мне ногу под столом.
Я страдаю и терплю.
Инженер зудит на скрипке.
Примирясь и с этим злом,
Я и бодрствую, и сплю.

Что бы вслух сказать такое?
Ну-ка, опыт, выручай!
«Попрошу… еще стакан»…
Ем вчерашнее жаркое,
Кротко пью холодный чай
И молчу, как истукан.

1908

Европеец

В трамвае, набитом битком,
Средь двух гимназисток, бочком,
Сижу в настроеньи прекрасном.

Панама сползает на лоб.
Я – адски пленительный сноб,
В накидке и в галстуке красном.

Пассаж не спеша осмотрев,
Вхожу к «Доминику», как лев,
Пью портер, малагу и виски.

По карте, с достоинством ем
Сосиски в томате и крем,
Пулярдку и снова сосиски.

Раздуло утробу копной…
Сановный швейцар предо мной
Толкает бесшумные двери.

Умаявшись, сыт и сонлив,
И руки в штаны заложив,
Сижу в Александровском сквере.

Где б вечер сегодня убить?
В «Аквариум», что ли, сходить,
Иль, может быть, к Мэри слетаю?

В раздумье на мамок смотрю,
Вздыхаю, зеваю, курю
И «Новое время» читаю…

Шварц, Персия, Турция… Чушь!
Разносчик! Десяточек груш…
Какие прекрасные грушки!

А завтра в двенадцать часов

На службу явиться готов,
Чертить на листах завитушки.

Однако: без четверти шесть.
Пойду-ка к «Медведю» поесть,
А после – за галстуком к Кнопу.

Ну как в Петербурге не жить?
Ну как Петербург не любить
Как русский намек на Европу?

1910

Мухи

На дачной скрипучей веранде
Весь вечер царит оживленье.
К глазастой художнице Ванде
Случайно сползлись в воскресенье
Провизор, курсистка, певица,
Писатель, дантист и певица.

«Хотите вина иль печенья?»
Спросила писателя Ванда,
Подумав в жестоком смущенье:
«Налезла огромная банда!
Пожалуй, на столько баранов
Не хватит ножей и стаканов».

Курсистка упорно жевала.
Косясь на остатки от торта,
Решила спокойно и вяло:
«Буржуйка последнего сорта».
Девица с азартом макаки
Смотрела писателю в баки.

Писатель за дверью на полке
Не видя своих сочинений,
Подумал привычно и колко:
«Отсталость!» – и стал в отдаленьи,
Засунувши гордые руки
В триковые стильные брюки.

Провизор, влюбленный и потный,
Исследовал шею хозяйки,
Мечтая в истоме дремотной:
«Ей-богу! Совсем как из лайки…
О, если б немножко потрогать!»
И вилкою чистил свой ноготь.

Певица пускала рулады
Все реже, и реже, и реже.
Потом, покраснев от досады,
Замолкла: «Не просят! Невежи…
Мещане без вкуса и чувства!
Для них ли святое искусство?»

Наелись. Спустились с веранды
К измученной пыльной сирени.
В глазах умирающей Ванды
Любезность, тоска и презренье —
«Свести их к пруду иль в беседку?
Спустить ли с веревки Валетку?»

Уселись под старой сосною.
Писатель сказал: «Как в романе…»
Девица вильнула спиною,
Провизор порылся в кармане
И чиркнул над кислой певичкой
Бенгальскою красною спичкой.

1910

Кухня

Тихо тикают часы
На картонном циферблате.
Вязь из розочек в томате
И зеленые усы.

Возле раковины щель
Вся набита прусаками,
Под иконой ларь с дровами
И двугорбая постель.

Над постелью бывший шах,
Рамки в ракушках и бусах, —
В рамках – чучела в бурнусах
И солдаты при часах.

Чайник ноет и плюет.
На окне обрывок книжки:
«Фаршированные пышки»,
«Шведский яблочный компот».

Пахнет мыльною водой,
Старым салом и угаром.
На полу пред самоваром
Кот сидит как неживой.

Пусто в кухне. «Тик» да «так».
А за дверью на площадке
Кто-то пьяненький и сладкий
Ноет: «Дарья, четвер-так!»

1922

Литературный цех

В редакции толстого журнала

Серьезных лиц густая волосатость
И двухпудовые, свинцовые слова:
«Позитивизм», «Идейная предвзятость»,
«Спецификация», «Реальные права»…

Жестикулируя, бурля и споря,
Киты редакции не видят двух персон:
Поэт принес «Ночную песню моря»,
А беллетрист – «Последний детский сон».

Поэт присел на самый кончик стула
И кверх ногами развернул журнал,
А беллетрист покорно и сутуло
У подоконника на чьи-то ноги стал.

Обносят чай… Поэт взял два стакана,
А беллетрист не взял ни одного.
В волнах серьезного табачного тумана
Они уже не ищут ничего.

Вдруг беллетрист, как леопард, в поэта
Метнул глаза: «Прозаик или нет?»
Поэт и сам давно искал ответа:
«Судя по галстуку, похоже, что поэт»…

Подходит некто в сером, но по моде,
И говорит поэту: «Плач земли?..»
– «Нет, я вам дал три “Песни о восходе”»
И некто отвечает: «Не пошли!»

Поэт поник. Поэт исполнен горя:

Он думал из «Восходов» сшить штаны!
«Вот здесь еще “Ночная песня моря”,
А здесь – “Дыханье северной весны”».

– «Не надо, – отвечает некто в сером: —
У нас лежит сто весен и морей».
Душа поэта затянулась флером,
И розы превратились в сельдерей.

«Вам что?» И беллетрист скороговоркой:
«Я год назад прислал “Ее любовь”».
Ответили, пошаривши в конторке:
«Затеряна. Перепишите вновь».

– «А вот, не надо ль? – беллетрист запнулся. —
Здесь… семь листов – “Последний детский сон”».
Но некто в сером круто обернулся —
В соседней комнате залаял телефон.

Чрез полчаса, придя от телефона,
Он, разумеется, беднягу не узнал
И, проходя, лишь буркнул раздраженно:
«Не принято! Ведь я уже сказал!..»

На улице сморкался дождь слюнявый.
Смеркалось… Ветер. Тусклый, дальний гул.
Поэт с «Ночною песней» взял направо,
А беллетрист налево повернул.

Счастливый случай скуп и черств, как Плюшкин.
Два жемчуга опять на мостовой…
Ах, может быть, поэт был новый Пушкин,
А беллетрист был новый Лев Толстой?!

Бей, ветер, их в лицо, дуй за сорочку —
Надуй им жабу, тиф и дифтерит!
Пускай не продают души в рассрочку,

Пускай душа их без штанов парит…

Между 1906 и 1909

«Смех сквозь слезы» (1809 – 1909)

Ах, милый Николай Васильич Гоголь!
Когда б сейчас из гроба встать ты мог,
Любой прыщавый декадентский щеголь
Сказал бы: «Э, какой он, к черту, бог?
Знал быт, владел пером, страдал. Какая редкость!
А стиль, напевность, а прозрения печать,
А темно-звонких слов изысканная меткость?..
Нет, старичок… Ложитесь в гроб опять!»

Есть между ними, правда, и такие,
Что дерзко от тебя ведут свой тусклый род
И, лицемерно пред тобой согнувши выи,
Мечтают сладенько: «Придет и мой черед!»
Но от таких «своих», дешевых и развязных,
Удрал бы ты, как Подколесин, чрез окно…
Царят! Бог их прости, больных, пустых и грязных,
А нам они наскучили давно.

Пусть их шумят… Но где твои герои?
Все живы ли, иль, небо прокоптив,
В углах медвежьих сгнили на покое
Под сенью благостной крестьянских тучных нив?
Живут… И как живут! Ты, встав сейчас из гроба,
Ни одного из них, наверно, б не узнал:
Павлуша Чичиков – сановная особа
И в интендантстве патриотом стал —

На мертвых душ портянки поставляет
(Живым они, пожалуй, ни к чему),

Манилов в Третьей Думе заседает
И в председатели был избран… по уму.
Петрушка сдуру сделался поэтом
И что-то мажет в «Золотом руне»,
Ноздрев пошел в охранное – и в этом
Нашел свое призвание вполне.

Поручик Пирогов с успехом служит в Ялте
И сам сапожников по праздникам сечет,
Чуб стал союзником и об еврейском гвалте
С большою эрудицией поет.
Жан Хлестаков работает в «России»,
Затем – в «Осведомительном бюро»,
Где чувствует себя совсем в родной стихии:
Разжился, раздобрел, – вот борзое перо!..

Одни лишь черти, Вий да ведьмы и русалки,
Попавши в плен к писателям modernes[3],
Зачахли, выдохлись и стали страшно жалки,
Истасканные блудом мелких скверн…
Ах, милый Николай Васильич Гоголь!
Как хорошо, что ты не можешь встать…
Но мы живем! Боюсь – не слишком много ль
Нам надо слышать, видеть и молчать?

И в праздник твой, в твой праздник благородный,
С глубокой горечью хочу тебе сказать:
«Ты был для нас источник многоводный,
И мы к тебе пришли теперь опять, —
Но «смех сквозь слезы» радостью усталой
Не зазвенит твоим струнам в ответ…
Увы, увы… Слез более не стало,
И смеха нет».

1909

Стилизованный осел

(Ария для безголосых)

Голова моя – темный фонарь с перебитыми стеклами,
С четырех сторон открытый враждебным ветрам.
По ночам я шатаюсь с распутными, пьяными Феклами,
По утрам я хожу к докторам.
Тарарам.

Я волдырь на сиденье прекрасной российской словесности,
Разрази меня гром на четыреста восемь частей!
Оголюсь и добьюсь скандалёзно-всемирной известности,
И усядусь, как нищий-слепец, на распутье путей.

Я люблю апельсины и все, что случайно рифмуется,
У меня темперамент макаки и нервы как сталь.
Пусть любой старомодник из зависти злится и дуется
И вопит: «Не поэзия – шваль!»

Врешь! Я прыщ на извечном сиденье поэзии,
Глянцевито-багровый, напевно-коралловый прыщ,
Прыщ с головкой белее несказанно-жженой магнезии,
И галантно-развязно-манерно-изломанный хлыщ.

Ах, словесные, тонкие-звонкие фокусы-покусы!
Заклюю, забрыкаю, за локоть себя укушу.
Кто не понял – невежда. К нечистому! Накося – выкуси.
Презираю толпу. Попишу? Попишу, попишу…

Попишу животом, и ноздрей, и ногами, и пятками,
Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах,
Зарифмую все это для стиля яичными смятками

И пойду по панели, пойду на бесстыжих руках…

1909

Недоразумение

Она была поэтесса,
Поэтесса бальзаковских лет.
А он был просто повеса,
Курчавый и пылкий брюнет.
Повеса пришел к поэтессе.
В полумраке дышали духи,
На софе, как в торжественной мессе,
Поэтесса гнусила стихи:
«О, сумей огнедышащей лаской
Всколыхнуть мою сонную страсть.
К пене бедер, за алой подвязкой
Ты не бойся устами припасть!
Я свежа, как дыханье левкоя,
О, сплетем же истомности тел!..»
Продолжение было такое,
Что курчавый брюнет покраснел.
Покраснел, но оправился быстро
И подумал: была не была!
Здесь не думские речи министра,
Не слова здесь нужны, а дела…
С несдержанной силой кентавра
Поэтессу повеса привлек,
Но визгливо-вульгарное: «Мавра!!»
Охладило кипучий поток.
«Простите… – вскочил он, – вы сами…»
Но в глазах ее холод и честь:
«Вы смели к порядочной даме,
Как дворник, с объятьями лезть?!»
Вот чинная Мавра. И задом

Уходит испуганный гость.
В передней растерянным взглядом
Он долго искал свою трость…
С лицом белее магнезии
Шел с лестницы пылкий брюнет:
Не понял он новой поэзии
Поэтессы бальзаковских лет.

1909

Переутомление

Посвящается исписавшимся «популярностям»

Я похож на родильницу,
Я готов скрежетать…
Проклинаю чернильницу
И чернильницы мать!

Патлы дыбом взлохмачены,
Отупел, как овца, —
Ах, все рифмы истрачены
До конца, до конца!..

Мне, правда, нечего сказать сегодня, как всегда,
Но этим не был я смущен, поверьте, никогда —
Рожал словечки и слова, и рифмы к ним рожал,
И в жизнерадостных стихах, как жеребенок, ржал.

Паралич спинного мозга?
Врешь, не сдамся! Пень – мигрень,
Бебель – стебель, мозга – розга,
Юбка – губка, тень – тюлень.

Рифму, рифму! Иссякаю —
К рифме тему сам найду…
Ногти в бешенстве кусаю
И в бессильном трансе жду.

Иссяк. Что будет с моей популярностью?
Иссяк. Что будет с моим кошельком?
Назовет меня Пильский дешевой бездарностью,
А Вакс Калошин – разбитым горшком…

Нет, не сдамся… Папа – мама,
Дратва – жатва, кровь – любовь,
Драма – рама – панорама,
Бровь – свекровь – морковь… носки!

1908

Два толка

Одни кричат: «Что форма? Пустяки!
Когда в хрусталь налить навозной жижи —
Не станет ли хрусталь безмерно ниже?»

Другие возражают: «Дураки!
И лучшего вина в ночном сосуде
Не станут пить порядочные люди».

Им спора не решить… А жаль!
Ведь можно наливать… вино в хрусталь.

1909

Нетерпеливому

Не ной… Толпа тебя, как сводня,
К успеху жирному толкнет,
И в пасть расчетливых тенет
Ты залучишь свое «сегодня».

Но знай одно – успех не шутка:
Сейчас же предъявляет счет.
Не заплатил – как проститутка,
Не доночует и уйдет.

1910

Недержание

У поэта умерла жена…
Он ее любил сильнее гонорара!
Скорбь его была безумна и страшна —
Но поэт не умер от удара.

После похорон пришел домой – до дна
Весь охвачен новым впечатленьем —
И спеша родил стихотворенье:
«У поэта умерла жена».

1909

Сиропчик

Посвящается «детским» поэтессам

Дама, качаясь на ветке,
Пикала: «Милые детки!
Солнышко чмокнуло кустик,
Птичка оправила бюстик
И, обнимая ромашку,
Кушает манную кашку…»

Дети, в оконные рамы
Хмуро уставясь глазами,
Полны недетской печали,
Даме в молчаньи внимали.
Вдруг зазвенел голосочек:
«Сколько напикала строчек?»

1910

Искусство в опасности

Литературного ордена
Рыцари! Встаньте, горим!!
Книжка Владимира Гордина
Вышла изданьем вторым.

1910

Юмористическая артель

Все мозольные операторы,
Прогоревшие рестораторы,
Остряки-паспортисты,
Шато-куплетисты и бильярд-оптимисты
Валом пошли в юмористы.
Сторонись!

Заказали обложки с макаками,
Начинили их сорными злаками:
Анекдотами длинно-зевотными,
Остротами скотными,
Зубоскальством
И просто нахальством.
Здравствуй, юмор российский,
Суррогат под-английский!
Галерка похлопает,
Улица слопает…
Остальное – не важно.

Раз-раз!
В четыре странички рассказ —
Пожалуйста, смейтесь:
Сюжет из пальца,
Немножко сальца,
Психология рачья,
Радость телячья,
Штандарт скачет,
Лейкин в могиле плачет:
Обокрали, канальи!

Самое время для ржанья!
Небо, песок и вода,
Посреди – улюлюканье травли…
Опостыли исканья,
Павлы полезли в Савлы,
Страданье прокисло в нытье
Безрыбье – в безрачье…
Положенье собачье!
Чем наполнить житье?
Средним давно надоели
Какие-то (черта ль в них!) цели, —
Нельзя ли попроще: театр в балаган,
Литературу в канкан.

Ры-нок тре-бу-ет сме-ха!

С пылу, с жару, своя реклама,
Побольше гама
(Вдруг спрос упадет!),
Пятак за пару —
Держись за живот:
Пародии на пародии,
Чревоугодие,
Комический случай в Батуме,
Самоубийство в Думе,
Случай в спальне —
Во вкусе армейской швальни,
Случай с пьяным в Калуге,
Измена супруги.
Самоубийство и Дума…

А жалко: юмор прекрасен —
Крыловских ли басен,
Иль чеховских «Пестрых рассказов»,
Где строки как нити алмазов,
Где нет искусства смешить
До потери мысли и чувства,
Где есть… просто искусство
В драгоценной оправе из смеха.

Акулы успеха!
Осмелюсь спросить —
Что вы нанизали на нить?
Картонных паяцев. Потянешь – смешно,
Потом надоест – за окно.
Ах, скоро будет тошнить
От самого слова «юмор»!..

1911

Единственному в своем роде

Между Толстым и Гоголем Суворин,
Справляет юбилей.
Тон юбилейный должен быть мажорен:
Ври, красок не жалей!
Позвольте ж мне с глубоким реверансом,
Маститый старичок,
Почтить вас кисло-сладеньким романсом
(Я в лести новичок),

Полсотни лет,
Презревши все «табу»,
Вы с тьмой и ложью, как Гамлет,
Вели борьбу.

Свидетель бог!
Чтоб отложить в сундук —
Вы не лизали сильных ног,
Ни даже рук.

Вам все равно —
Еврей ли, финн, иль грек,
Лишь был бы только не «евно»,
А человек.

Твои глаза
(Перехожу на ты!)
Как брюк жандармских бирюза,
Всегда чисты.

Ты vis-a-vis
С патриотизмом – пол
По обьявленьям о любви
Свободно свел.

И орган твой,

Кухарок нежный друг,
Всегда был верный часовой
Для верных слуг…

…На лире лопнули струны со звоном!..
Дрожит фальшивый, пискливый аккорд…
С мяуканьем, визгом, рычаньем и стоном
Несутся кошмаром тысячи морд:
Наглость и ханжество, блуд, лицемерье,
Ненависть, хамство, и жадность, и лесть
Несутся, слюнявят кровавые перья
И чертят по воздуху: правда и честь!

1909

По мытарствам

У райских врат гремит кольцом
Душа с восторженным лицом:
«Тук-тук! Не слышат… вот народ!
К вам редкий праведник грядет!»

И после долгой тишины
Раздался глас из-за стены:
«Здесь милосердие царит, —
Но кто ты? Чем ты знаменит?»

«Кто я? Не жид, не либерал!
Я “Письма к ближним” сочинял…»
За дверью топот быстрых ног,
Краснеет райских врат порог.

У адских врат гремит кольцом
Душа с обиженным лицом:
«Эй, там! Скорее, Асмодей!

Грядет особенный злодей…»

Визгливый смех пронзает тишь:
«Ну, этим нас не удивишь!
Отца зарезал ты, иль мать?
У нас таких мильонов пять».

«Я никого не убивал —
Я “Письма к ближним” сочинял…»
За дверью топот быстрых ног,
Краснеет адских врат порог.

Душа вернулась на погост —
И здесь вопрос не очень прост:
Могилы нет… Песок изрыт,
И кол осиновый торчит…

Совсем обиделась душа
И, воздух бешено круша,
В струях полуночных теней
Летит к редакции своей.

Впорхнувши в форточку клубком,
Она вдоль стеночки, бочком,
И шмыг в плевательницу. «О!
Да здесь уютнее всего!»

Наутро кто-то шел спеша
И плюнул. Нюхает душа:
«Лук, щука, перец… Сатана!
Ужель еврейская слюна?!»

«Ах, только я был верный щит!»
И в злобе выглянуть спешит,
Но сразу стих священный гнев:
«Ага! Преемник мой – Азеф!»

1909

Панургова муза

Обезьяний стильный профиль,
Щелевидные глаза,
Губы – клецки, нос – картофель:
Ни девица, ни коза.

Волоса – как хвост селедки,
Бюста нет – сковорода,
И растет на подбородке —
Гнусно молвить – борода.

Жесты резки, ноги длинны,
Руки выгнуты назад,
Голос тоньше паутины
И клыков подгнивших ряд.

Ах, ты, душечка! Смеется —
Отворила ворота…
Сногсшибательно несется
Кислый запах изо рта.

Щеки глаз припали к коже,
Брови лысые дугой.
Для чего, великий боже,
Выводить ее нагой?!

1908

***

Я обращаюсь к писателям, художникам,

устроителям с горячим призывом
не участвовать в деле, разлагающем общество…

А. Блок. Вечера «искусств»

Молил поэта
Блок-поэт:
«Во имя Фета
Дай обет —
Довольно выть с эстрады
Гнусавые баллады!

Искусству вреден
Гнус и крик,
И нищ и беден
Твой язык.
А publicum гогочет
Над тем, кто их морочит».

Поэт на Блока
Заворчал:
«Mercі! Урока
Я не ждал —
Готов читать хоть с крыши
Иль в подворотней нише!

Мелькну, как дикий,
Там и тут,
И шум и крики
Всё растут,
Глядишь – меня в итоге
На час зачислят в боги.

А если б дома

Я торчал
И два-три тома
Натачал,
Меня б не покупали
И даже не читали…»

Был в этом споре
Блок сражен.
В наивном горе
Думал он:
«Ах! нынешние Феты
Как будто не поэты…»

Между 1910 и 1913

Честь

Когда раскроется игра —
Как негодуют шулера!
И как кричат о чести
И благородной мести!

1910

Вешалка дураков

1

Раз двое третьего рассматривали в лупы
И изрекли: «Он глуп». Весь ужас здесь был в том,
Что тот, кого они признали дураком,

Был умницей, – они же были глупы.

2

«Кто этот, лгущий так туманно,
Неискренно, шаблонно и пространно?»
– «Известный мистик N, большой чудак».
– «Ах, мистик? Так… Я полагал – дурак».

3

Ослу образованье дали.
Он стал умней? Едва ли.
Но раньше, как осел,
Он просто чушь порол,
А нынче – ах злодей —
Он, с важностью педанта,
При каждой глупости своей
Ссылается на Канта.

4

Дурак рассматривал картину:
Лиловый бык лизал моржа.
Дурак пригнулся, сделал мину

И начал: «Живопись свежа…
Идея слишком символична,
Но стилизовано прилично».
(Бедняк скрывал сильней всего,
Что он не понял ничего).

5

Умный слушал терпеливо
Излиянья дурака:
«Не затем ли жизнь тосклива,
И бесцветна, и дика,
Что вокруг, в конце концов,
Слишком много дураков?»
Но, скрывая желчный смех,
Умный думал, свирепея:
«Он считает только тех,
Кто его еще глупее, —
“Слишком много” для него…
Ну а мне-то каково?»

6

Дурак и мудрецу порою кровный брат:
Дурак вовек не поумнеет,
Но если с ним заспорит хоть Сократ, —
С двух первых слов Сократ глупеет!

7

Пусть свистнет рак,
Пусть рыба запоет,
Пусть манна льет с небес, —
Но пусть дурак
Себя в себе найдет —
Вот чудо из чудес!

Между 1909 и 1910

Читатель

Я знаком по последней версии
С настроеньем Англии в Персии
И не менее точно знаком
С настроеньем поэта Кубышкина,
С каждой новой статьей Кочерыжкина
И с газетно-журнальным песком.

Словом, чтенья всегда в изобилии —
Недосуг прочитать лишь Вергилия
Говорят: здоровенный талант!
Но еще не мешало б Горация —
Тоже был, говорят, не без грации…
А Шекспир, а Сенека, а Дант?

Утешаюсь одним лишь – к приятелям
(чрезвычайно усердным читателям)
Как-то в клубе на днях я пристал:

«Кто читал Ювенала, Вергилия?»

Но, увы, (умолчу о фамилиях),
Оказалось, никто не читал!

Перебрал и иных для забавы я:
Кто припомнил обложку, заглавие,
Кто цитату, а кто анекдот,
Имена переводчиков, критику…
Перешли вообще на пиитику —
И поехали. Пылкий народ!

Разобрали детально Кубышкина,
Том шестой и восьмой Кочерыжкина,
Альманах «Обгорелый фитиль»,
Поворот к реализму Поплавкина
И значенье статьи Бородавкина
«О влияньи желудка на стиль»…

Утешенье, конечно, большущее…
Но в душе есть сознанье сосущее,
Что я сам до кончины моей,
Объедаясь трухой в изобилии,
Ни строки не прочту из Вергилия
В суете моих пестреньких дней!

1911

Трагедия

К вопросу о «кризисе современной русской литературы»

Рожденный быть кассиром в тихой бане
Иль агентом по заготовке шпал,

Семен Бубнов сверх всяких ожиданий
Игрой судьбы в редакторы попал.

Огромный стол. Перо и десть бумаги —
Сидит Бубнов, задравши кнопку-нос…
Не много нужно знаний и отваги,
Чтоб ляпать всем: «Возьмем», «Не подошло-с!»

Кто в первый раз – скостит наполовину,
Кто во второй – на четверть иль на треть…
А в третий раз – пришли хоть требушину,
Сейчас в набор, не станет и смотреть!

Так тридцать лет чернильным папуасом
Четвертовал он слово, мысль и вкус,
И наконец опившись как-то квасом,
Икнул и помер, вздувшись, словно флюс.

В некрологах, средь пышных восклицаний,
Никто, конечно, вслух не произнес,
Что он, служа кассиром в тихой бане,
Наверно, больше б пользы всем принес.

1912

****

Жестокий бог литературы!
Давно тебе я не служил:
Ленился, думал, спал и жил, —
Забыл журнальные фигуры,
Интриг и купли кислый ил,
Молчанья боль, и трепет шкуры,
И терпкий аромат чернил…

Но странно, верная мечта
Не отцвела – живет и рдеет.
Не изменяет красота —
Всё громче шепчет и смелеет.
Недостижимое светлеет,
И вновь пленяет высота…

Опять идти к ларям впотьмах,
Где зазыванье, пыль и давка,
Где все слепые у прилавка
Убого спорят о цветах?..
Где царь-апломб решает ставки,
Где мода – властный падишах…

Собрав с мечты душистый мед,
Беспечный, как мечтатель-инок,
Придешь сконфуженно на рынок —
Орут ослы, шумит народ,
В ларях пестрят возы новинок, —
Вступать ли в жалкий поединок
Иль унести домой свой сот?..

1912

Невольная дань

Невольное признание

Гессен сидел с Милюковым в печали.
Оба курили и оба молчали.

Гессен спросил его кротко как Авель:
«Есть ли у нас конституция, Павел?»

Встал Милюков, запинаясь от злобы,
Резко ответил: «Еще бы! Еще бы!»

Долго сидели в партийной печали.
Оба курили и оба молчали.

Гессен опять придвигается ближе:
«Я никому не открою – скажи же!»

Раненый демон в зрачках Милюкова:
«Есть для кадет! А о прочих – ни слова…»

Мнительный взгляд на соратника бросив,
Вновь начинает прекрасный Иосиф:

«Есть ли…» Но слезы бегут по жилету —
На ухо Павел шепнул ему: «Нету!»

Обнялись нежно и в мирной печали
Долго курили и долго молчали.

1909

Баллада

Я позвал их, показал им
Пирог и предложил условия.
Большего им и не требовалось.

«Эмиль». Ж.-Ж. Руссо

Устав от дела бюрократ
Раз, вечером росистым,
Пошел в лесок, а с ним был штат:
Союзник с октябристом.

Союзник нес его шинель,
А октябрист – его портфель…
Лесок дрожал в печали,
И звери чуть дышали.

Вдруг бюрократ достал пирог
И положил на камень:
«Друзья! Для ваших верных ног
Я сделаю экзамен:

За две версты отсель, чрез брод,
Бегите задом наперед.
И кто здесь первый будет —
Пирог себе добудет».

Вот слышен конский топ,
И октябрист, весь в мыле,
Несется к камушку в галоп —
Восторг горит на рыле!

«Скажи, а где наш общий брат?» —
Спросил в испуге бюрократ.

«Отстал. Под сенью ветел
Жида с деньгами встретил…»

– «А где пирог мой?» – октябрист
Повел тревожно носом
(Он был немножко пессимист
По думским ста вопросам).

Но бюрократ слегка икнул,
Зачем-то в сторону взглянул,
Сконфузился, как дева,
И показал на чрево.

1909

Цензурная сатира

Я видел в карете монаха,
Сверкнула на рясе звезда…
Но что я при этом подумал
Я вам не скажу никогда!

Иду – и наткнулся на Шварца
И в страхе пустился бежать…
Ах, что я шептал по дороге —
Я вам не решаюся сказать!

Поднялся к знакомой курсистке.
Усталый от всех этих дел,
Я пил кипяченую воду,
Бранился и быстро хмелел.

Маруся! Дай правую ручку…
Жизнь – радость, страданье – ничто!
И молча я к ней наклонился…

Зачем? Не скажу ни за что!

1910

Экспромт

И мы когда-то, как Тиль-Тиль,
Неслись за синей птицей!
Когда нам вставили фитиль —
Мы увлеклись синицей.

Мы шли за нею много миль —
Вернулись с черной птицей!
Синицу нашу ты, Тиль-Тиль,
Не встретил за границей?

1909

Там внутри

У меня серьезный папа —
Толстый, важный и седой;
У него с кокардой шляпа,
А в сенях городовой.

Целый день он пишет, пишет —
Даже кляксы на груди.
Подойдешь, а он не слышит
Или скажет: «Уходи».

Ухожу… У папы дело,
Как у всех других мужчин.
Только как мне надоело:

Все один да все один!

Но сегодня утром рано
Он куда-то заспешил
И на коврик из кармана
Ключ в передней обронил.

Наконец-то… вот так штука.
Я обрадовался страсть.
Кабинет открыл без звука
И как мышка, в двери – шасть!
На столе четыре папки,
Все на месте. Всё точь-в-точь.
Ну-с, пороемся у папки —
Что он пишет день и ночь?

«О совместном обученье,
Как вреднейшей из затей»,
«Краткий список книг для чтенья
Для кухаркиных детей»,

«В думе выступить с законом:
Чтобы школ не заражать,
Запретить еврейским женам
Девяносто лет рожать»,

«Об издании журнала
“Министерский детский сад”»,
«О любви ребенка к баллам»,
«О значении наград»,

«Черновик проекта школы
Государственных детей»,
«Возбуждение крамолой
Малолетних на властей»,

«Дух законности у немцев

В младших классах корпусов»,

«Поощрение младенцев,
Доносящих на отцов».

Фу, устал. В четвертой папке
«Апология плетей».
Вот так штука… Значит, папка
Любит маленьких детей?

1909

Молитва

Благодарю тебя, создатель,
Что я в житейской кутерьме
Не депутат и не издатель
И не сижу еще в тюрьме.

Благодарю тебя, могучий,
Что мне не вырвали язык,
Что я, как нищий, верю в случай
И к всякой мерзости привык.

Благодарю тебя, единый,
Что в Третью Думу я не взят, —
От всей души с блаженной миной
Благодарю тебя стократ.

Благодарю тебя, мой боже,
Что смертный час, гроза глупцов,
Из разлагающеся кожи
Исторгнет дух в конце концов.

И вот тогда, молю беззвучно,
Дай мне исчезнуть в черной мгле, —

В раю мне будет очень скучно,
А ад я видел на земле.

1907

Веселая наглость

«Русский народ мало трудится»

Марков. 2-ой съезд дворян

Ах, сквозь призму
Кретинизма
Гениально прост вопросец:
Наш народ – не богоносец,
А лентяй
И слюнтяй.

В самом деле, —
Еле-еле
Ковырять в земле сухой —
Старомодною сохой —
Не работа,
А дремота.

У француза —
Кукуруза,
Виноград да лесопилки.
А у нас —
Лень да квас.

Лежебокам за уроком
Что бы съездить за границу —

К шведам, к немцам или в Ниццу?
Не хотят —
Пьют да спят.

Иль со скуки
Хоть науки
Изучали бы, вороны:
Философию, законы…
Не желают:
Презирают!

Ну ленивы!
Даже «нивы»
Не хотят читать, обломы.
С Мережковским незнакомы!!
Только б жрать,
Только б спать.

Но сквозь призму критицизма
Вдруг вопрос родится яркий:
Как у этаких, как Марков,
Нет хвостов
И клыков?

1909

К женскому съезду

Не спорьте о мужских правах, —
Все объяснимо в двух словах:
Нет прав у нас,
Как и у вас.

И если в Третьей Думе мы
Цветем,

Как розы средь зимы,
То благо вам —
Что вы не там.

Вы с нами пламенно ползли —
Вы с нами нынче на мели.
И вы, и мы —
Добыча тьмы.

Но мудрых нет как нет у нас,
Вовек их не было у вас,
И мы, и вы
Без головы…

Чьи сны давно уже мертвы?
Кто будет в Мекке, мы иль вы?
Ни мы, ни вы…
Ни вы, ни мы…

А в воду ужас каждый час
Толкает больше – вас иль нас?
У двух полов —
Хорош улов.

Не спорьте о мужских правах,
Все объяснимо в двух словах:
Коль пас, так пас,
Для нас и вас…

1908

К приезду французских гостей

Слава богам! Петроград посетили французские
Гости

Сладкие вести теперь повезут они в вольный
Париж:
Пышных, развесистых клюкв и медведей
На Невском не видно,
Но у медведя зато французская кухня вполне.

Русский казенный оркестр гремел без препон
«Марсельезу»,
В честь двух парламентских стран выпил
Французский посол, —
«Гений финансов» теперь пеплом посыплет
Прическу
И с благородной тоской Милюкову портфель
Передаст!..
Где ж интендантский грабеж, реформобоязнь
И Думбадзе,
Черные сотни, застой, Гучковская дума и гнет?
О, безобразная ложь русских слепцов —
Эмигрантов!
Сладкую весть повезут французские гости в
Париж…

1910

Злободневность

Я сегодня всю ночь просидел до утра, —
Я испортил, волнуясь, четыре пера:
Злободневность мелькала, как бешеный хвост,
Я поймал ее, плюнул и свез на погост.

Называть наглецов наглецами, увы,
Не по силам для бедной моей головы,
Наглецы не поверят, а зрячих смешно
Убеждать в том, что зрячим известно давно.

Пуришкевич… обглоданный тухлый Гучков…
О, скорее полы натирать я готов
И с шарманкой бродить по глухим деревням,
Чем стучать погремушкой по грязным камням.

Сколько дней, золотых и потерянных дней,
Возмущались мы черствостью этих камней
И сердились, как дети, что камни не хлеб,
И громили ничтожество жалких амеб?

О, ужели пять-шесть ненавистных имен
Погрузили нас в черный, безрадостный сон?
Разве солнце погасло и дети мертвы?
Разве мы не увидим весенней травы?

Я, как страус, не раз зарывался в песок…
Но сегодня мой дух так спокойно высок…
Злободневность – Гучкова и Гулькина дочь —
Я с улыбкой прогнал в эту ночь.

1910

Успокоение

Посвящается Русским Бисмаркам

Больной спокоен. Спрячьте в шкап лекарства и посулы!
Зрачки потухли, впала грудь и заострились скулы.
Больной лоялен… На устах застыли крик и стоны,
С веселым карканьем над ним уже кружат вороны.
С врачей не спросят. А больной – проснется ли, бог знает!

Сознаться тяжко, но боюсь, что он уже воняет.

1910

Послания

Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце.

Екклезиаст. XI, 7

Послание второе

Хорошо сидеть под черной смородиной,
Дышать, как буйвол, полными легкими,
Наслаждаться старой, истрепанной «Родиной»
И следить за тучками легкомысленно-легкими.

Хорошо, объедаясь ледяной простоквашею,
Смотреть с веранды глазами порочными,
Как дворник Пэтэр с кухаркой Агашею
Угощают друг друга поцелуями сочными.

Хорошо быть Агашей и дворником Пэтэром,
Без драм, без принципов, без точек зрения,
Начав с конца роман перед вечером,
Окончить утром – дуэтом храпения.

Бросаю тарелку, томлюсь и завидую,
Одеваю шляпу и галстук сиреневый
И иду в курзал на свидание с Лидою,
Худосочной курсисткой с кожей шагреневой.

Навстречу старухи мордатые, злобные,
Волочат в песке одеянья суконные,
Отвратительно-старые и отвисло-утробные,
Ползут и ползут, словно оводы сонные.

Где благородство и мудрость их старости?
Отжившее мясо в богатой материи

Заводит сатиру в ущелие ярости
И ведьм вызывает из тьмы суеверия…

А рядом юные, в прическах на валиках,
В поддельных локонах, с собачьими лицами,
Невинно шепчутся о местных скандаликах
И друг на друга косятся тигрицами.

Курзальные барышни, и жены, и матери!
Как вас не трудно смешать с проститутками,
Как мелко и тинисто в вашем фарватере,
Набитом глупостью и предрассудками…

Фальшивит музыка. С кровавой обидою
Катится солнце за море вечернее.
Встречаюсь сумрачно с курсисткою Лидою —
И власть уныния больней и безмернее…

Опять о Думе, о жизни и родине,
Опять о принципах и точках зрения…
А я вздыхаю по черной смородине
И полон желчи, и полон презрения…

1908
Гугенбург[4]

Послание третье

Ветерок набегающий
Шаловлив, как влюбленный прелат.
Адмирал отдыхающий
Поливает из лейки салат.

За зеленой оградою,
Растянувшись на пляже, как краб,

Полицмейстер с отрадою
Из песку лепит формочкой баб.

Средь столбов с перекладиной —
Педагог на скрипучей доске
Кормит мопса говядиной,
С назиданьем на каждом куске.

Бюрократ в отдалении
Красит масляной краской балкон.
Я смотрю в удивлении
И не знаю: где правда, где сон?

Либеральную бороду
В глубочайшем раздумье щиплю…
Кто, приученный к городу,
В этот миг не сказал бы: «Я сплю»?

Жгут сомненья унылые,
Не дают развернуться мечте —
Эти дачники милые
В городах совершенно не те!

Полицмейстер Крамольников
Лепит там из воды и песку.
Вместо мопсов на школьников
Педагог нагоняет тоску.

Бюрократ черной краскою
Красит всю православную Русь..
Но… Знакомый с развязкою —
За дальнейший рассказ не берусь.

1908
Гугенбург

Послание пятое

Вчера играло солнце
И море голубело,
И дух тянулся к солнцу,
И радовалось тело.

И люди были лучше,
И мысли были сладки —
Вчера шальное солнце
Пекло во все лопатки.

Сегодня дождь и сырость…
Дрожат кусты от ветра,
И дух мой вниз катится
Быстрее барометра.

Сегодня люди – гады,
Надежда спит сегодня —
Усталая надежда,
Накрашенная сводня.

Из веры, книг, и жизни,
Из мрака и сомненья
Мы строим год за годом
Свое мировоззренье.

Зачем вчера при солнце
Я выгнал вон усталость,
Заигрывал с надеждой
И верил в небывалость?

Горит закат сквозь тучи
Чахоточным румянцем.
Стою у злого моря
Циничным оборванцем.

Все тучи, тучи, тучи…
Ругаться или плакать?
О, если б чаще солнце!
О, если б реже слякоть!

1908
Гугенбург

Кумысные вирши

1

Благословен степной ковыль,
Сосцы кобыл и воздух пряный.
Обняв кумысную бутыль,
По целым дням сижу как пьяный.

За печкой свищут соловьи
И брекекекствуют лягушки.
В честь их восторженной любви
Тяну кумыс из липкой кружки.

Ленясь, смотрю на берега…
Душа вполне во власти тела —
В неделю правая нога
На девять фунтов пополнела.

Видали ль вы, как степь цветет?
Я не видал, скажу по чести;
Должно быть милый божий скот
Поел цветы с травою вместе.

Здесь скот весь день среди степей
Навозит, жрет и дрыхнет праздно
(Такую жизнь у нас, людей,
Мы называем буржуазной).

Благословен степной ковыль!
Я тоже сплю и обжираюсь,
И на скептический костыль
Лишь по привычке опираюсь.

Бессильно голову склоня
Качаюсь медленно на стуле
И пью. Наверно, у меня
Хвост конский вырастет в июле.

Какой простор! вон пара коз
Дерется с пылкостью аяксов.
В окно влетающий навоз
Милей струи опопанакса.

А там, в углу, перед крыльцом
Сосет рябой котенок суку.
Сей факт с сияющим лицом
Вношу как ценный вклад в науку.

Звенит в ушах, в глазах, в ногах,
С трудом дописываю строчку,
А муха на моих стихах
Пусть за меня поставит точку.

Степное башкирское солнце
Раскрыло сияющий зев.
Завесив рубахой оконце,
Лежу, как растерзанный лев,
И с мокрым платком на затылке,
Глушу за бутылкой бутылку.

Войдите в мое положенье:
Я в городе солнца алкал!
Дождался – и вот без движенья,
Разинувши мертвый оскал,
Дымящийся, мокрый и жалкий,
Смотрю в потолочные балки.

Но солнце, по счастью, залазит
Под вечер в какой-то овраг
И кровью исходит в экстазе,
Как смерти сдающийся враг.
Взлохмаченный, дикий и сонный,
К воротам иду монотонно.

В деревне мертво и безлюдно.
Башкиры в кочевья ушли,
Лишь старые идолы нудно
Сидят под плетями в пыли,
Икают кумысной отрыжкой
И чешут лениво под мышкой.

В трехцветном окрашенном кэбе
Помещик катит на обед.
Мечеть выделяется в небе.
Коза забралась в минарет,
А голуби сели на крышу —
От сих впечатлений завишу.

Завишу душою и телом —
Ни книг, ни газет, ни людей!
Одним лишь терпеньем и делом
Спасаюсь от мрачных идей:
У мух обрываю головки
И клецки варю на спиртовке.

3

Бронхитный исправник,
Серьезный, как классный наставник,
С покорной тоской на лице,
Дороден, задумчив и лыс,
Сидит на крыльце и дует кумыс.

Плевритный священник
Взопрел, как березовый веник,

Отринул на рясе крючки, —
Тощ, близорук, белобрыс —
Катарный сатирик, очки и дует кумыс.
Истомный и хлипкий, как лирик,
С бессмысленным пробковым взглядом,
Сижу без движения рядом.
Сомлел, распустился, раскис и дую кумыс.

«В Полтаве попался мошенник», —
Читает со вкусом священник.
«Должно быть, из левых», —
Исправник басит полусонно.

А я прошептал убежденно:
«Из правых».

Подходит мулла в полосатом,
Пропахшем муллою халате.
Хихикает… сам-то хорош! —
Не ты ли, и льстивый и робкий,
В бутылках кумысных даешь
Негодные пробки?

Его пятилетняя дочка
Сидит, распевая, у бочки
В весьма невоспитанной позе.
Краснею, как скромный поэт,
А дева, копаясь в навозе,
Смеется: «Бояр! Дай канфет!»

«И в Риге попался мошенник!»
Смакует плевритный священник.
«Повесить бы подлого Витте», —
Бормочет исправник сквозь сон.
«За что же?!» и голос сердитый
Мне буркнул: «Все он…»

Пусть вешает. Должен цинично
Признаться, что мне безразлично.
Исправник глядит на муллу
И тянет ноздрями: «Вонища!»
Священник вздыхает: «Жарища!»
А я изрекаю хулу:
«Тощища!!»

Поутру пошляк – чиновник
Прибежал ко мне в экстазе:
– Дорогой мой, на семь фунтов
Пополнел я с воскресенья…

Я поник главою скорбно
И подумал: если дальше
Будет так же продолжаться,
Он поправится, пожалуй.

У реки, под тенью ивы
Я над этим долго думал …
Для чего лечить безмозглых,
Пошлых, подлых и ненужных?

Но избитым возраженьем
Сам себя опровергаю:
Кто отличит в наше время
Тех, кто нужен, от ненужных?

В самых редких положеньях
Это можно знать наверно:
Если Марков захворает,
То его лечить не стоит.

Только Марковы, к несчастью,
Все здоровы, как барбосы, —
Нервов нет, мозгов два лота
И в желудках много пищи…

У реки под тенью ивы
Я рассматривал природу —
Видел заросли крапивы
И вульгарнейшей полыни.

Но меж ними ни единой
Благородной, пышной розы…
Отчего так редки розы?
Отчего так много дряни?!

По степям бродил в печали:
Все коровник да репейник,
Лебеда, полынь, поганки
И глупейшая ромашка.

О, зачем в полях свободно
Не растут иные злаки —
Рожь, пшеница и картошка,
Помидоры и капуста?

Почему на хмурых соснах
Не качаются сосиски?
Почему лопух шершавый
Не из шелковых волокон?

Ах, тогда б для всех на свете
Социальная проблема
Разрешилась моментально…
О, дурацкая природа!

Эта мысль меня так мучит,
Эта мысль меня так давит,
Что в волнении глубоком
Не могу писать я больше…

1909
Дер. Чебни

Провинция

Бульвары

Праздник. Франты гимназисты
Занимают все скамейки.
Снова тополи душисты,
Снова влюбчивы еврейки.

Пусть экзамены вернулись…
На тенистые бульвары,
Как и прежде потянулись
Пары, пары, пары, пары…

Господа семинаристы
Голосисты и смешливы
Но бонтонны гимназисты
И вдвойне красноречивы.

Назначают час свиданья,
Просят «веточку сирени»,
Давят руки на прощанье
И вздыхают, как тюлени.

Адъютантик благовонный
Увлечен усатой дамой.
Слышен голос заглушенный:
«Ах, не будьте столь упрямой!»

Обещает, о, конечно,
Даже кошки и собачки
Кое в чем не безупречны
После долгой зимней спячки…

Три акцизника портнихе

Отпускают комплименты.
Та бежит и шепчет тихо:
«А еще интеллигенты!»

Губернатор едет к тете.
Нежны кремовые брюки.
Пристяжная на отлете
Вытанцовывает штуки.

А в соседнем переулке
Тишина, и лень, и дрема.
Все живое на прогулке,
И одни старушки дома.

Садик. Домик чуть заметен.
На скамье у старой ели
В упоеньи новых сплетен
Две седые балаболки.

«Шмит к Серовой влез в окошко…
А еще интеллигенты!
Ночью, к девушке, как кошка…
Современные… студенты!»

1908

Священная собственность

Беседка теснее скворешни.
Темны запыленные листья.
Блестят наливные черешни…
Приходит дородная Христя,
Приносит бутылку наливки,
Грибы, и малину, и сливки.

В поднос упираются дерзко
Преступно-прекрасные формы.
Смущенно, и робко, и мерзко
Уперлись глазами в забор мы…
Забыли грибы и бутылку,
И кровь приливает к затылку.

«Садитесь, Христина Петровна!» —
Потупясь, мы к ней обратились
(Все трое в нее поголовно
Давно уже насмерть влюбились),
Но молча косится четвертый:
Причины особого сорта…

Хозяин беседки и Христи,
Наливки, и сливок, и сада
Сжимает задумчиво кисти,
А в сердце вползает досада:
«Ах, ешьте грибы и малину
И только оставьте Христину!»

1908

На славном посту

Фельетонист взъерошенный
Засунул в рот перо.
На нем халат изношенный
И шляпа болеро…

Чем в следующем номере
Заполнить сотню строк?
Зимою жизнь в Житомире
Сонлива, как сурок.

Живет перепечатками
Газета-инвалид
И только опечатками
Порой развеселит.

Не трогай полицмейстера,
Духовных и крестьян,
Чиновников, брандмейстера,
Торговцев и дворян,

Султана, предводителя,
Толстого и Руссо,
Адама-прародителя
И даже Клемансо…

Ах, жизнь полна суровости,
Заплачешь над судьбой:
Единственные новости —
Парад и мордобой!

Фельетонист взъерошенный,
Терзает болеро:
Парад – сюжет изношенный,
А мордобой – старо!

1908

При лампе

Три экстерна болтают руками,
А студент-оппонент
На диван завалился с носками,
Говорит, говорит, говорит…

Первый видит спасенье в природе,

Но второй потрясая икрой,
Уверяет, что – только в народе.
Третий – в книгах и личной свободе,
А студент возражает всем трем.

Лазарь Розенберг, рыжий и гибкий,
В стороне, на окне,
К Дине Блюм наклонился с улыбкой.
В их сердцах ангел страсти на скрипке
В первый раз вдохновенно играл.

В окна первые звезды мигали.
Лез жасмин из куртин.
Дина нежилась в маминой шали,
А у Лазаря зубы стучали
От любви, от великой любви!..

Звонко пробило четверть второго —
И студент-оппонент
Приступил, горячась до смешного,
К разделению шара земного.
Остальные устало молчали.

Дым табачный и свежесть ночная…
В стороне, на окне,
Разметалась забытая шаль, как больная,
И служанка внесла, на ходу засыпая,
Шестой самовар…

1908

Ранним утром

Утро. В парке – песнь кукушкина.
Заперт сельтерский киоск.

Рядом памятничек Пушкина,
У подножья – пьяный в лоск;

Поудобнее притулится,
Посидит и упадет…
За оградой вьется улица,
А на улице народ;

Две дворянки, мама с дочкою,
Ковыляет на базар;
Водовоз, привстав над бочкою,
Мчится, словно на пожар;

Пристав с шашкою под мышкою,
Две свиньи, ветеринар.
Через час – «приготовишкою»
Оживляется бульвар.

Сколько их, смешных и маленьких,
И какой сановный вид!
Вон толстяк в галошах-валенках
Ест свой завтрак и сопит.

Два – друг дружку лупят ранцами,
Третий книжки растерял,
И за это «оборванцами»
Встречный поп их обругал.

Солнце реет над березами.
Воздух чист, как серебро.
Тарахтит за водовозами
Беспокойное ведро.

На кентаврах раскоряченных
Прокатил архиерей,
По ошибке, страхом схваченный,
Низко шапку снял еврей.

С визгом пес пронесся мнительный —
«Гицель» выехал на лов.
Бочки. Запах подозрительный
Объясняет все без слов.

Жизнь все ярче разгорается;
Двух старушек в часть ведут,
В парке кто-то надрывается —
Вероятно, морду бьют.

Тьма, как будто в Полинезии…
И отлично! Боже мой,
Разве мало здесь поэзии,
Самобытной и родной?!

1909

Лошади

Четыре кавалера
Дежурят возле сквера,
Но Вера не идет.

Друзья от скуки судят
Бока ее и груди,
Ресницы и живот.

«Невредная блондинка!»
– «Н-да-с, девочка с начинкой…»
– «Жаль только не того-с!»

– «Шалишь, а та интрижка
С двоюродным братишкой?»
– «Ну, это, брат, вопрос».

Вдали мелькнула Вера.
Четыре кавалера
С изяществом стрекоз

Галантно подлетели
И сразу прямо к цели:
«Как спали, хорошо-с?»

– «А к вам, ха-ха, в окошко
Стучалась ночью кошка…»
– «С усами… ха-ха-ха!»

Краснеет Вера густо
И шепчет: «Будь вам пусто!
Какая чепуха…»

Подходит пятый лихо
И спрашивает тихо:
«Ну, как дела, друзья?»

Смеясь, шепнул четвертый:
«Морочит хуже черта —
Пока еще нельзя.»

– «Смотри… скрывать негоже!
Я в очереди тоже…»
– «Само собой, мой друг».

Пять форменных фуражек
И десять глупых ляжек
Замкнули Веру в круг.

1910

Из гимназических воспоминаний

Пансионеры дремлют у стены
(Их место – только злость и зависть прочим).
Стена – спасенье гимназической спины:
Приткнулся, и часы уже короче.

Но остальным, увы, как тяжело:
Переминаются, вздыхают, как тюлени,
И чтоб немножко тело отошло,
Становятся громоздко на колени.

Инспектор в центре. Левый глаз устал —
Косится правым. Некогда молиться!
Заметить надо тех, кто слишком вял,
И тех, кто не успел еще явиться.

На цыпочках к нему спешит с мольбой
Взволнованный малыш-приготовишка
(Ужели Смайлс не властен над тобой?!):
«Позвольте выйти!» Бедная мартышка…

Лишь за порог – все громче и скорей
До коридора добежал вприпрыжку.
И злится надзиратель у дверей,
Его фамилию записывая в книжку.

На правом клиросе серебряный тенор
Солирует, как звонкий вешний ветер.
Альты за нотами, чтоб не увидел хор,
Поспешно пожирают «Gala Peter».

Но гимназистки молятся до слез
Под желчным оком красной классной дамы,
Изящные, как купы белых роз,
Несложные и нежные, как гаммы.

Порой лишь быстрый и лукавый глаз
Перемигнется с миловидным басом:
И рявкнет яростней воспламененный бас,
Условленный томим до боли часом.

Директор – бритый, дряхленький кащей —
На левом клиросе увлекся разговором.
В косые нити солнечных лучей
Вплыл сизый дым и плавился над хором.

Усталость дует ласково в глаза.
Хор все торопится – скорей, скорей, скорее…
Кружатся стены, пол и образа,
И грузные слоны сидят на шее.

1910

Первая любовь

Куприну

Из-за забора вылезла луна
И нагло села на крутую крышу.
С надеждой, верой и любовью слышу,
Как запирают ставни у окна.
Луна!

О, томный шорох темных тополей,
И спелых груш наивно-детский запах!
Любовь сжимает сердце в цепких лапах,
И яблони смеются вдоль аллей.
Смелей!

Ты там, как мышь, притихла в тишине?
Не взвизгивает дверь пустынного балкона,
Белея и шумя волнами балахона,
Ты проскользнешь, как бабочка, ко мне,
В огне…

Да, дверь поет. Дождался, наконец.
А впрочем хрип, и кашель, и сморканье,
И толстых ног чужие очертанья —
Все говорит, что это твой отец.
Конец.

О, носорог! Он смотрит на луну,
Скребет бока, живот и поясницу
И придавив до плача половицу,
Икотой нарушает тишину.
Ну-ну…

Потом в туфлях спустился в сонный сад,
В аллеях яблоки опавшие сбирает,
Их с чавканьем и хрустом пожирает
И в тьму впирает близорукий взгляд.
Назад!

К стволу с отчаяньем и гневом я приник.
Застыл. Молчу. А в сердце кастаньеты…
Ты спишь, любимая? Конечно, нет ответа,
И не уходит медленный старик —
Привык!

Мечтает… гад! Садится на скамью…
Вокруг забор, а на заборе пики.
Ужель застряну и в бессильном крике
Свою любовь и злобу изолью?!
Плюю…

Луна струит серебряную пыль.

Светло. Прости!.. В тоске перелезаю,
Твои глаза заочно лобызаю
И с трррeском рву штанину о костыль.
Рахиль!

Как мамонт бешеный, влачился я, хромой.
На улицах луна и кружево каштанов…
Будь проклята любовь вблизи отцов тиранов!
Кто утолит сегодня голод мой?
Домой!..

1910

На музыкальной репетиции

Склонив хребет, галантный дирижер
Талантливо гребет обеими руками, —
То сдержит оком бешеный напор,
То вдруг в падучей изойдет толчками…

Кургузый добросовестный флейтист,
Скосив глаза, поплевывает в дудку.
Впиваясь в скрипку,
Тоненький, как глист,
Визжит скрипач, прижав пюпитр к желудку.

Девица-страус, сжав виолончель,
Ключицами прилипла страстно к грифу
И, бесконечную наяривая трель,
Все локтем ерзает по кремовому лифу.

За фисгармонией унылый господин
Рычит, гудит и испускает вздохи,
А пианистка вдруг без видимых причин,
Куда-то вверх полезла в суматохе.

Перед трюмо расселся местный лев,
Сияя парфюмерною улыбкой, —
Вокруг колье из драгоценных дев
Шуршит волной томительной и гибкой…

А рядом чья-то mere, в избытке чувств,
Вздыхая, пудрит нос, горящий цветом мака:
«Ах, музыка, искусство из искусств,
Безумно помогает в смысле брака!..»

1910

Вильна

Праздник

Генерал от водки,
Управитель акцизами,
С бакенбардами сизыми,
На новой пролетке,
Прямой, как верста, —
Спешит губернатора сухо поздравить
С воскресеньем Христа.
То-то будет выпито.
Полицмейстер напыженный,
В регалиях с бантами,
Ругает коней арестантами.
А кучер пристыженный
Лупцует пристяжку с хвоста.
Вперед на кляче подстриженной
Помаялся стражник с поста…

Спешат губернатора лихо поздравить
С воскресеньем Христа.

То-то будет выпито.

Директор гимназии,
Ради парадной оказии
На коленях держа треуголку
И фуражкой лысину скрыв,
На кривой одноколке,
Чуть жив,
Спускается в страхе с моста.
Спешит губернатора скромно поздравить
С воскресеньем Христа.

То-то будет выпито.

Разгар кутерьмы!
В наемной лоханке
Промчался начальник тюрьмы.
Следом – директор казенного банка,
За ним предводитель дворянства
В роскошном убранстве,
С ключами ниже спины.
Белеют штаны.
Сомкнуты гордо уста.
Спешат губернатора дружно поздравить
С воскресеньем Христа.

То-то будет выпито!

1910

Уездный город Болхов

На одерской площади понурые одры,
Понурые лари и понурые крестьяне.
Вкруг одерской площади груды пестрой рвани:
Номера, лабазы и постоялые дворы.
Воняет кожей, рыбой и клеем.
Машина в трактире хрипло сипит.

Пыль кружит по улице и забивает рот,
Въедается в глаза, клеймит лицо и ворот.
Заборы – заборы-заборы-заборы.
Мостки, пустыри и пыльный репей.

Коринфские колонны облупленной семьей
Поддерживают кров «мещанской богадельни».
Средь нищенских домов упорно и бесцельно
Угрюмо-пьяный чуйка воюет со скамьей.
Сквозь мутные стекла мерцают божницы.
Два стражника мчатся куда-то в карьер.

Двадцать пять церквей пестрят со всех сторон.
Лиловые, и желтые, и белые в полоску.
Дева у окна скребет перстом прическу.
В небе караван тоскующих ворон.
Воняет клеем, пылью и кожей.
Стемнело. День умер. Куда бы пойти?..

На горе бомондное гулянье в «городке»:
Извилистые ухари в драконовых
И вспухшие от сна кожевницы в корсетах
Ползут кольцом вкруг «музыки», как стая мух
В горшке.
Кларнет и гобой отстают от литавров.
«Как ночь – то лунаста!» – «Лобзаться вкусней!» —

А внизу за гривенник волшебный новый яд —
Серьезная толпа застыла пред экраном:
«Карнавал в Венеции», «Любовник под диваном».

Шелушат подсолнухи, вздыхают и кряхтят…
Мальчишки прильнули к щелкам забора.
Два стражника мчатся куда-то в карьер.

1914

Лирические сатиры

Под сурдинку

Хочу отдохнуть от сатиры…
У лиры моей
Есть тихо дрожащие, легкие звуки.
Усталые руки
На умные струны кладу,
Пою и в такт головою киваю…

Хочу быть незлобным ягненком,
Ребенком,
Которого взрослые люди дразнили
И злили,
А жизнь за чьи-то чужие грехи
Лишила третьего блюда.

Васильевский остров прекрасен,
Как жаба в манжетах.
Отсюда, с балконца,
Омытый потоками солнца,
Он весел, и грязен, и ясен,
Как старый маркер.

Над ним углубленная просинь
Зовет, и поет, и дрожит…
Задумчиво осень последние листья желтит.
Срывает,
Бросает под ноги людей на панель…
А в сердце не смолкнет свирель:
Весна опять возвратится!

О зимняя спячка медведя,
Сосущего пальчики лап!

Твой девственный храп
Желанней лобзаний прекраснейшей леди.
Как молью изъеден я сплином…
Посыпьте меня нафталином,
Сложите в сундук и поставьте меня на чердак,
Пока не наступит весна.

1909

Экзамен

Из всех билетов вызубрив четыре,
Со скомканной программою в руке,
Неся в душе раскаянья гири,
Я мрачно шел с учебником к реке.

Там у реки блондинка гимназистка
Мои билеты выслушать должна.
Ах, провалюсь! Ах, будет злая чистка!
Но ведь отчасти и ее вина…

Зачем о ней я должен думать вечно?
Зачем она близка мне каждый миг?
Ведь это, наконец, бесчеловечно!
Конечно, мне не до проклятых книг.

Ей хорошо: по всем – двенадцать баллов,
А у меня лишь по закону пять.
Ах, только гимназистки без скандалов
Любовь с наукой могут совмещать!

Пришел. Навстречу грозный голос Любы:
«Когда Лойола орден основал?»
А я в ответ ее жестоко в губы,
Жестоко в губы вдруг поцеловал.

«Не сметь! Нахал! Что сделал для науки
Декарт, Бэкон, Паскаль и Галилей?»
А я в ответ ее смешные руки
Расцеловал от пальцев до локтей.

«Кого освободил Пипин Короткий?
Ну, что ж? Молчишь! Не знаешь ни аза?»
А я в ответ почтительно и кротко
Поцеловал лучистые глаза.

Так два часа экзамен продолжался.
Я получил ужаснейший разнос!
Но, расставаясь с ней, не удержался
И вновь поцеловал ее взасос.

. . . . . .

Я на экзамене дрожал как в лихорадке,
И вытащил… второй билет! Спасен!
Как я рубил! Спокойно, четко, гладко…
Иван Кузьмич был страшно поражен.

Бегом с истории, ликующий и чванный,
Летел мою любовь благодарить…
В душе горел восторг благоуханный.
Могу ли я экзамены хулить?

1910

Из Финляндии

Я удрал из столицы на несколько дней
В царство сосен, озер и камней.

На площадке вагона два раза видал,
Как студент свою даму лобзал.

Эта старая сцена сказала мне вмиг
Больше ста современнейших книг.

А в вагоне – соседка и мой vis-a-vis
Объяснялись тихонько в любви.

Чтоб свое одинокое сердце отвлечь,
Из портпледа я вытащил «Речь».

Вверх ногами я эту газету держал:
Там в углу юнкер барышню жал!

Был на Иматре. – Так надо.
Видел глупый водопад.
Постоял у водопада
И, озлясь, пошел назад.

Мне сказала в пляске шумной
Сумасшедшая вода:
«Если ты больной, но умный —
Прыгай, миленький, сюда!»

Извините. Очень надо…
Я приехал отдохнуть.
А за мной из водопада
Донеслось: «Когда-нибудь!»

Забыл на вокзале пенсне, сломал отельную лыжу.
Купил финский нож – и вчера потерял.
Брожу у лесов и вдвойне опять ненавижу
Того, кто мое легковерие грубо украл.

Я в городе жаждал лесов, озер и покоя.

Но в лесах снега глубоки, а галоши мелки.
В отеле все те же комнаты, слуги, жаркое,
И в окнах финского неба слепые белки.

Конечно, прекрасно молчание финнов и финок,
И сосен, и финских лошадок, и неба, и скал,
Но в городе я намолчался по горло, как инок,
И здесь я бури и вольного ветра искал…

Над нетронутым компотом
Я грущу за табльдотом:
Все разъехались давно.

Что мне делать – я не знаю.
Сплю, читаю, ем, гуляю —
Здесь – иль город: все равно.

1909

Песнь песней

Нос твой – башня ливанская,
Обращенная к Дамаску.

Песнь песн. Гл. VII

Поэма

Царь Соломон сидел под кипарисом
И ел индюшку с рисом.

У ног его, как воплощенный миф,
Лежала Суламифь
И, высунувши розовенький кончик
Единственного в мире язычка,
Как кошечка при виде молочка,
Шептала: «Соломон мой, Соломончик!»

«Ну, что?» – промолвил царь,
Обгладывая лапку.
«Опять раскрыть мой ларь?
Купить шелков на тряпки?
Кровать из янтаря?
Запястье из топазов?
Скорей проси царя,
Проси, цыпленок, сразу!»

Суламифь царя перебивает:
«О мой царь! Года пройдут, как сон —
Но тебя никто не забывает —
Ты мудрец, великий Соломон.
Ну, а я, шалунья Суламита,
С лучезарной, смуглой красотой,
Этим миром буду позабыта,
Как котенок в хижине пустой!
О мой царь! Прошу тебя сердечно:
Прикажи, чтоб медник твой Хирам
Вылил статую мою из меди вечной, —
Красоте моей нетленный храм!..»

«Хорошо! – говорит Соломон. – Отчего же?»
А ревнивые мысли поют на мотив:
У Хирама уж слишком красивая рожа —
Попозировать хочет моя Суламифь.
Но ведь я, Соломон, мудрецом называюсь,
И Хирама из Тира мне звать не резон…
«Хорошо, Суламифь, хорошо, постараюсь!
Подарит тебе статую царь Соломон…»

Царь тихонько от шалуньи
Шлет к Хираму в Тир гонца,
И в седьмое новолунье
У парадного крыльца
Соломонова дворца
Появился караван
Из тринадцати верблюдов,
И на них литое чудо —
Отвратительней верблюда
Медный, в шесть локтей, болван.
Стража, чернь и служки храма
Наседают на Хирама:
«Идол? Чей? Кому? Зачем?»
Но Хирам бесстрастно нем.
Вдруг выходит Соломон.
Смотрит: «Что это за гриф
С безобразно длинным носом?!»
Не смущаясь сим вопросом,
Медник молвит: «Суламифь».

«Ах!» – сорвалось с нежных уст,
И живая Суламита
На плиту из малахита
Опускается без чувств…
Царь, взбесясь, уже мечом
Замахнулся на Хирама,
Но Хирам повел плечом:
«Соломон, побойся срама!
Не спьяна и не во сне
Лил я медь, о царь сердитый,
Вот пергамент твой ко мне
С описаньем Суламифь:

Нос ее – башня Ливана!
Ланиты ее – половинки граната.
Рот, как земля Ханаана,

И брови, как два корабельных каната.

Сосцы ее – юные серны,
И груди, как две виноградные кисти,
Глаза – золотые цистерны,
Ресницы, как вечнозеленые листья.

Чрево, как ворох пшеницы,
Обрамленный гирляндою лилий,
Бедра, как две кобылицы,
Кобылицы в кремовом мыле…

Кудри, как козы стадами,
Зубы, как бритые овцы с приплодом,
Шея, как столп со щитами,
И пупок, как арбуз, помазанный медом!»

В свите хохот заглушенный. Улыбается Хирам.
Соломон, совсем смущенный, говорит: «Пошел к чертям!
Все, что следует по счету, ты получишь за работу…
Ты – лудильщик, а не медник, ты сапожник… Стыд и срам!»
С бородою по колена, из толпы – пророк Абрам
Выступает вдохновенно: «Ты виновен – не Хирам!
Но не стоит волноваться, всякий может увлекаться:
Ты писал и расскакался, как козуля по горам.
“Песня песней” – это чудо! И бессилен здесь Хирам.
Что он делал? Вылил блюдо в дни, когда ты строил храм…
Но клянусь! В двадцатом веке по рождении Мессии
Молодые человеки возродят твой стиль в России…»

Суламифь открывает глаза,
Соломон наклонился над нею:
«Не волнуйся, моя бирюза!
Я послал уж гонца к Амонею.
Он хоть стар, но прилежен, как вол,
Говорят, замечательный медник…
А Хирам твой – бездарный осел

И при этом еще привередник!
Будет статуя здесь – не проси —
Через два или три новолунья…»
И в ответ прошептала «Mercі!»
Суламифь, молодая шалунья.

1910

Весна мертвецов

Зашевелились корни
Деревьев и кустов.
Растаял снег на дерне
И около крестов.

Оттаявшие кости
Брыкаются со сна,
И бродит на погосте
Весенняя луна.

Вон вылезли скелеты
Из тесных, скользких ям.
Белеют туалеты
Мужчин и рядом дам.

Мужчины жмут им ручки,
Уводят в лунный сад
И все земные штучки
При этом говорят.

Шуршание. Вздохи. Шепот.
Бряцание костей.
И слышен скорбный ропот
Из глубины аллей.

«Мадам! Плохое дело…
Осмелюсь вам открыть:
Увы, истлело тело —
И нечем мне любить!»

1910

Бегство

Зеленой плесенью покрыты кровли башен,
Зубцы стены змеятся вкруг Кремля.
Закат пунцовой бронзою окрашен.
Над куполами, золотом пыля,
Садится солнце сдержанно и сонно,
И древних туч узор заткал полнебосклона.

Царь-колокол зевает старой раной,
Царь-пушка зев уперла в небеса,
Как арбузы, – охвачены нирваной,
Спят ядра грузные, не веря в чудеса —
Им никогда не влезть в жерло родное
И не рыгнуть в огне, свистя и воя…

У красного крыльца, в цветных полукафтаньях,
Верзилы певчие ждут, полы подобрав.
В лиловом сумраке свивая очертанья,
Старинным золотом горит плеяда глав,
А дальше терема, расписанные ярко,
И каменных ворот зияющая арка.

Проезжий в котелке, играя модной палкой,
В наполеоновские пушки постучал,
Вздохнул, зевнул и, улыбаясь жалко,
Поправил галстук, хмыкнул, помычал —
И подошел к стене: все главы, главы, главы

В последнем золоте закатно-красной лавы…

Широкий перезвон басов-колоколов
Унизан бойкою, серебряною дробью.
Ряды опричников, монахов и стрельцов
Бесшумно выросли и, хмурясь исподлобья,
Проходит Грозный в черном клобуке,
С железным костылем в сухой руке.

Скорее в город! Современность ближе —
Проезжий в котелке, как бешеный, подрал.
Сесть в узенький трамвай, мечтать, что ты в Париже,
И по уши уйти в людской кипящий вал!
В случайный ресторан забраться по пути,
Газету в руки взять и сердцем отойти…

«Эй, человек! Скорей вина и ужин!»
Кокотка в красном дрогнула икрой.
«Madame, присядьте… Я Москвой контужен!
Я одинок… О, будьте мне сестрой».
«Сестрой, женой иль тещей – чем угодно —
На этот вечер я совсем свободна».

Он ей в глаза смотрел и плакал зло и пьяно:
«Ты не Царь-колокол? Не башня из Кремля?»
Она, смеясь, носком толкнула фортепьяно,
Мотнула шляпкой и сказала: «Тля!»
Потом он взял ее в гостиницу с собой,
И там она была ему сестрой.

1909

Карнавал в Гейдельберге

Город спятил. Людям надоели
Платья серых будней – пиджаки,
Люди тряпки пестрые надели,
Люди все сегодня – дураки.

Умничать никто не хочет больше,
Так приятно быть самим собой…
Вот костюм кичливой старой Польши,
Вот бродяги шествуют гурьбой.

Глупый Михель с пышною супругой
Семенит и машет колпаком,
Белый клоун надрывается белугой
И грозит кому-то кулаком.

Ни проехать, ни пройти,
Засыпают конфетти.
Щиплют пухленьких жеманниц.

Нет манер, хоть прочь рубаху!
Дамы бьют мужчин с размаху,
День во власти шумных пьяниц.

Над толпою – серпантин
Сетью пестрых паутин,
Перевился и трепещет.

Треск хлопушек, свист и вой,
Словно бешеный прибой,
Рвется в воздухе и плещет.

Идут, обнявшись, смеясь и толкаясь,
В открытые настежь пивные.
Идут, как братья, шутя и ругаясь,
И все такие смешные…

Смех людей соединил,

Каждый пел и каждый пил,
Каждый делался ребенком.

Вон судья навеселе
Пляшет джигу на столе,
Вон купец пищит котенком.

Хор студентов свеж и волен —
Слава сильным голосам!
Город счастлив и доволен,
Льется пиво по столам…

Ходят кельнерши в нарядах —
Та матросом, та пажом,
Страсть и дерзость в томных взглядах.
«Помани и… обожжем!»

Пусть завтра опять наступают будни.
Пусть люди наденут опять пиджаки,
И будут спать еще непробудней —
Сегодня мы все – дураки…

Братья! Женщины не щепки —
Губы жарки, ласки крепки,
Как венгерское вино.

Пейте, лейте, прочь жеманство!
Завтра трезвость, нынче пьянство…
Руки вместе – и на дно!

1909

Из «Шмецких» воспоминаний

Посв. А. Григорьеву

У берега моря кофейня. Как вкусен густой шоколад!
Лиловая жирная дама глядит у воды на закат.

– Мадам, отодвиньтесь немножко! Подвиньте ваш грузный баркас.
Вы задом заставили солнце, – а солнце прекраснее вас…

Сосед мой краснеет, как клюква, и смотрит сконфуженно вбок.
– Не бойся! Она не услышит: в ушах ее ватный клочок.

По тихой веранде гуляет лишь ветер да пара щенят,
Закатные волны вскипают, шипят и любовно звенят.

Весь запад в пунцовых пионах, и тени играют с песком,
А воздух вливается в ноздри тягучим парным молоком.

– Михайлович, дай папироску! – Прекрасно сидеть в темноте,
Не думать и чувствовать тихо, как краски растут в высоте.

О, море верней валерьяна врачует от скорби и зла…
Фонарщик зажег уже звезды, и грузная дама ушла.

Над самой водою далеко, как сонный усталый глазок,
Садится в шипящее море цветной, огневой ободок.

До трех просчитать не успели, он вздрогнул и тихо нырнул,
А с моря уже доносился ночной нарастающий гул…

1909
Шмецке – близ Гугенбурга

Примечания

[1] belle Helene – Прекрасная Елена (фр.).
[2] Nocturno – Ночное, здесь – ночной пейзаж (лат.).
[3] Modernes – Модернистам (фр.).
[4] Гугенбург – ныне город Усть-Нарва (Нарва-Йыэсуу) в Эстонии, на побережье Финского залива.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.com
Оставить отзыв о книге
Все книги автора